Религия—дурман для народа

И. П. ВОРОНИЦЫН

В. Г. БЕЛИНСКИЙ и РЕЛИГИЯ





Религия—дурман для народа

Научное общество „АТЕИСТ“

ПРИНИМАЕТ

подписку на ежемесячный журнал-сборник научных материалов

„АТЕИСТ“

ЕГО ОТДЕЛЫ:

1) **Религиозно-исторический и культурно-исторический**—статьи по вопросам истории религии и культуры как в нашем, т.-е. **материалистическом**, освещении, так и в освещении идеологически чуждых нам, но дающих обширный **фактический** материал, исследователей, **особенно иностранных**, поскольку этот материал может быть использован в интересах воинствующего атеизма.

2) **Церковь и государство.** Отдел посвящен разоблачению контр-революционной и шантажной деятельности церковников, какого бы то ни было культа.

3) **История атеизма.**

4) **Хроника** антирелигиозного движения у нас и за рубежом.

5) **Библиографический**—сведения и отзывы о книгах и статьях в области религии и ее критики, выходящих у нас и за рубежом.

Отв. редактор—*И. Шпицберг.*

Редакционный Совет: *Н. Румянцев, В. Шишаков, Е. Федоров-Грекулов, И. Вороницын, проф. С. А. Каменев, проф. С. Г. Лозинский, проф. В. Дитякин.*

ПОДПИСКА С ПЕРЕСЫЛКОЙ ПО ПОЧТЕ:

На 1928 год на 12 месяцев	7 р.	50 к.
„ „ „ 6 „	4 „	— „
Отдельный номер	— „	75 „
За 1925 г. №№ 1 и 2	1 „	25 „
Комплект журнала за весь 1926 г. (№№ 3—14)	6 „	— „
Комплект журнала за 1927 г. (№№ 15—26)	5 „	— „

Москва, I. Гранатный пер., дом 1.

Издательство „АТЕИСТ“ —— Телеф. 4-53-12.

РЕЛИГИЯ—ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА

И. П. ВОРОНИЦЫН

В. Г. БЕЛИНСКИЙ и РЕЛИГИЯ



17-я ТИПОГРАФИЯ
„МОСПОЛИГРАФ“,
Садовая-Сухаревская, 9.
Мосгублит № 15.910
Тираж 8.000 экз.

„Неистовый Виссарион“.

I.

„Белинский был не что иное, как литературный бунтовщик, который, за неимением у нас места бунтовать на площади, бунтовал в журналах“. Этими словами один из видных реакционеров в позднейшее время определял значение Белинского в деле развития русской общественности. И надо сказать, что трудно было бы в краткой формуле дать более меткую характеристику нашего великого критика.

30-ые и 40-ые годы были, действительно, временем, когда „бунт на площади“ являлся делом совершенно немыслимым. В начале 30-х годов, когда Белинский начинал свой многотрудный путь, еще слишком памятно было 14-ое декабря, и реакция была во всем разгаре. „Нравственный уровень общества пал,—вспоминал об этом моменте Герцен,—развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные—испуганные, слабые, потерянные были мелки, пусты, дрянь александровского поколения заняла первое место... Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа; для него ничто не переменилось—ему было не лучше и не хуже прежнего, его время не пришло“.

Вторая половина 40-х годов, когда заканчивалась деятельность Белинского, протекает в той же атмосфере усиленных репрессий против всего живого и мыслящего в стране. „Тяжелые тогда стояли времена,—рассказывает И. С. Тургенев, вспоминая о Белинском.— Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно, окровавленную; может быть, тебе даже пришлось с‘ездить к цензору и, представив напрасные и унизительные об‘яснения, оправдания, выслушать его безапелляционный часто насмешливый приговор. Генерал, и даже не начальник, а так просто генерал, оборвал или, что еще хуже, поощрил тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи

о закрытии университетов, вскоре затем сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни"!..

В этой обстановке приходилось „бунтовать" Белинскому, человеку с мятежной душой и непокорной волей. Употребляя его собственные слова, природа осудила его лаять собакой и выть шакалом, а внешние обстоятельства заставляли его мурлыкать кошкою, вилять хвостом по-лисьи. В борьбе между велениями природы и обстоятельствами протекала вся его жизнь.

Современники рисуют его нам исключительно яркими, привлекательными красками. „Наивная и страстная душа, в ком помыслы прекрасные кипели" (Некрасов). „Мощная, гладиаторская натура", „сильный боец": „когда касались до его дорогих убеждений, „он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге, с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль" (Герцен *). „Глубоко-страстная искренность составляла главное основание его натуры... Он всегда искал истины, постоянно служил ей. Он искал ее со страстью, он увлекался... В нем не было ни искры мелкого самолюбия, ни предвзятых мыслей, ни упорства, никаких притязаний на доктринерство и непогрешимость" (Н. Н. Тютчев). „Белинский был, что у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, умевший любить и ненавидеть бескорыстно" (Тургенев). Друзья прозвали его „неистовым Виссарионом". И он сам подписывал иногда так свои поистине „неистовые" письма к ним—единственный источник для подлинного познания его личности **).

Одаренный этим исключительно ярким темпераментом, отличаясь в то же время острым диалектическим умом, Белинский оказывал огромное влияние на всех, непосредственно соприкасавшихся с ним. „Он имел на меня и на всех нас чарующее действие,—вспоминает К. Д. Кавелин;—это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния таланта,—нет, это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех мыслей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполняя ими все свое бытие".

И столь же огромным было его влияние на читателей „Отечественных Записок" и „Современника"—журналов, в которых печатались его статьи. „Статьи Белинского,—рассказывает Герцен,—су-

---

*) Приведем еще записи из дневника Герцена, не предназначавшиеся к опубликованию: „Письмо от Белинского. Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы людей—Робеспьер. Человек для них—ничего, убежденне—все" (14 ноября 1842).— „Скоро будет Белинский... Я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы много понимаем друг друга. И я люблю его резкую односторонность, всегда полную энергии и бесстрашную..." (15 мая 1843).

**) Белинский „Письма", под ред. Е. А. Ляцкого, т. т. I—III, СПБ 1914; в дальнейшем мы пользуемся преимущественно этим источником, лишь изредка обращаясь к его литературным сочинениям, сдержанным поневоле и вдобавок изуродованным цензурой.—Здесь же необходимо оговориться, что наше отношение к Белинскому определяется исключительно общественной стороной его деятельности. В своей частной жизни он не вполне соответствовал нынешним понятиям.

дорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге, с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли „Отечественные Записки"; тяжелый номер рвали из рук в руки:—„Есть Белинского статья?"—„Есть",—и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... И трех-четырех верований, „уважений" как не бывало". Знаменитое письмо Белинского к Гоголю—произведение исключительное по силе обличения, горящее гневом, кипящее ненавистью к самодержавию, крепостному праву и православию, с энтузиазмом переписывалось молодежью и в бесчисленных списках распространялось по всей стране.

Это влияние сохраняется многие годы после смерти знаменитого критика. Оно даже усиливается, растет. Вот что рассказывает об этом влиянии один из противников Белинского, славянофил И. С. Аксаков в частном письме в 1856 году: „Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю, в отдаленных краях России только теперь еще проникает это влияние и увеличивает число прозелитов. Тут нет ничего странного... „Мы Белинскому обязаны своим спасением,—говорят мне везде молодые честные люди в провинции"... Чернышевский, Добролюбов, Писарев и целый ряд других передовых деятелей 60—70 г.г. видели в Белинском своего учителя и следовали его лучшим заветам.

Кроме чисто индивидуальных особенностей, благодаря которым Белинский стал вождем передовой русской общественности, он обладал также всеми чертами, свойственными определенной общественной группе. Он принадлежал и по своему происхождению к той разночинной интеллигенции, на долю которой в России выпала честь стоять в первых рядах тогда только начинавшегося мелкобуржуазного революционного движения. Дед его был сельским священником, отец—сначала младшим лекарем во флоте, а потом уездным врачем. Сам же он был „недоучившимся студентом". Следовательно, в обществе, где удельный вес человека определялся прежде всего происхождением, чином и званием, он, как человек без чина и звания, занимал самое неопределенное положение. Вдобавок, он не обладал ни наследственным, ни благоприобретенным капиталом: был гол, как сокол, следовательно, и с этой стороны не мог найти возмещение своей безродности и нечиновности. Наконец, в течение всей своей жизни, несмотря на талант и известность, он влачит необеспеченное существование, не вылезает почти из долгов, а после его смерти семья остается без гроша. Условия, как видим, самые необходимые для карьеры типичного русского интеллигента-разночинца.

Белинский,—говорит Г. В. Плеханов,—„был едва ли не первым, и без всякого сомнения самым ярким литературным выразителем прогрессивных стремлений мыслящих разночинцев. Он бился над теми самыми вопросами, над которыми впоследствии бились они; он мучился теми самыми муками, которыми суждено было мучиться им, и —гениальный разночинец—он в общих чертах уже указал тот путь, который выведет способную к развитию часть наших разночинцев на путь плодотворной общественной деятельности". Именно поэтому нам представляется особенно важным с некоторыми подробностями остановиться на отношении Белинского к религии и на тех изменениях, которые, в связи с эволюцией всего его мировоззрения, это отношение претерпело в течение его жизни.

II.

Сохранившиеся известия о детстве и первой юности Белинского указывают на то, что особенным почтением к религиозному культу он проникнуться не мог. Отец его, хотя и не отличался исключительными нравственными достоинствами, а к концу жизни страдал запоем и пал весьма низко, был все же на уездный масштаб человеком просвещенным. По словам родственника и приятеля Белинского, уездный лекарь пользовался в городе и во всем уезде репутацией безбожника. Его обвиняли в том, что во христа он не верует и в церковь не ходит. Его любимыми писателями были Вольтер, Эккартсгаузен и Юнг-Штиллинг. Правда, последние два писателя— мистики и, как будто, не подходят к Вольтеру. Но в России мистическая религиозность весьма часто сопровождалась отрицательным отношением к обрядовому христианству, и возможно, что Белинский—отец пользовался Вольтером именно для своих вылазок против религиозных суеверий. А он был человек очень острый на язык и не удерживался от насмешек и обличений, хотя такое поведение тяжело отражалось на его доходах и делало его отверженцем. Он, кроме того, и в политических своих взглядах отличался либерализмом и был чуть ли не поклонником французской революции.

Если Виссарион Белинский и не заимствовал непосредственно от отца религиозного вольнодумства и либеральных идей, то во всяком случае из родительского дома он вынес определенную наклонность критически относиться к российской действительности и недоверять общепринятым авторитетам. Для того времени подобное начало иначе как блестящим назвать нельзя: немногие безбожники могли похвастаться такой подготовкой.

Мы говорим только о наклонности к критике, потому что Белинский сравнительно рано утратил нопосредственное соприкосновение с семьей. Вполне сознательно к окружающему тогда он относиться еще не мог. Но и при этом не вполне сознательном отношении и при полной еще несамостоятельности суждений, он с юношеским задором критикует и отрицает. Косвенно свидетельствует об этом одна современница, довольно близко знавшая домашнюю обстановку Белинского. „Идеи отца,—говорила она *)—имели большое влияние на религиозное и нравственное развитие Виссариона“. Более прямое свидетельство мы находим в одном из его писем к Бакунину: „Я страдаю, пишет он, от гнусного воспитания, от того, что резонерствовал в то время, когда только чувствуют, был безбожником и кощуном, не бывши еще религиозным, сочинял, не умея писать по линейкам, мечтал и фантазировал, когда другие учили вокабулы“. Оставляя в стороне вопрос о том, почему „страдает“ в 1840 году Белинский от былого резонерства, безбожия и мечтательности, мы вправе из этих слов заключить, что в возрасте переходном от детства к юности он представлял собою—пусть несознательного—отрицателя. Да и несколько позже, но все еще в возрасте, когда он способен был благоговеть перед священными стенами Кремля и исполняться священным трепетом при взгляде на памятник Минину и Пожарскому, он совершенно непочтительно толкует об обязанности посещать храмы божии.

Дело в том, что мать его, женщина во всех отношениях импонировавшая уездному обществу, отвергавшему его отца, увещевала его в своих письмах почаще посещать церковь. На это юный сту-

---

*) Приведено у А. Н. Пыпина „Белинский, его жизнь и переписка“, изд. 2-е, стр. 12.

дент отвечал: „Подобные увещания для меня не всегда приятны и могут мне наскучить. Если бы вы советовали мне быть добрым человеком, не изменять правилам доброго поведения, то бы, хотя и сам все сие очень хорошо знаю, принял бы с благодарностию подобные советы... Но вы хотите сделать из меня благочестивого странствующего пилигрима и заставить меня предпринять благопохвальное путешествие по московским церквам, которым и счета нет. Шататься мне по оным некогда“...

Таким образом, можно установить, что Белинский вступил в жизнь без всякой веры, с умом не засоренным традициями. Но в тоже время очевидно, что он и не задумывался серьезно ни над содержанием господствующих религиозных воззрений, ни над их происхождением и ролью в современном обществе. Он был практическим атеистом. Этим обстоятельством отчасти нужно об'яснять то, что его путь к подлинному, теоретическому атеизму не представляет собой прямой восходящей линии. Придя в соприкосновение с **теоретическими** влияниями, исходящими из такого близкого к религии источника, как немецкая идеалистическая философия, он оказывается безоружным. Авторитет философии даже не вытесняет в его уме авторитета веры, а просто занимает свободное место.

Яркий свет на настроения юноши Белинского в этот переходный период бросает сочиненная им несколько позже, в конце 1830 г., „драматическая повесть“ в пяти действиях „Дмитрий Калинин“. Вот как в письме к отцу изображает сам он основную тенденцию драмы: „В этом сочинении, со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранство людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных“... Другими словами, Белинский выступает здесь против крепостного права. Но не только против одного крепостного права. Другие формы „тиранства“ также не оставлены им без внимания. Он, например, выражает ту мысль, что „права, происхождение, предки, суть не что иное, как предрассудки, постыдные для человечества“. В церковном браке он видит „ничтожное условие, изобретенное людьми для собственного своего мучения“. И даже, совершенно в духе французских философов, проповедует, что, „когда законы противны правам природы и человечества, правам самого рассудка, то человек может и должен нарушать их“.

Более слабо, но вполне явственно в „Дмитрие Калинине“ выражены и антирелигиозные мотивы. Так, здесь ставится вопрос—бог или люди сами причиной зла, царящего на земле? Для того ли люди терпят **здесь**, чтобы вечно наслаждаться **там?** И хотя прямого ответа не дается, но в читателе не остается сомнения в том, что существование бога весьма сомнительно, а „истинно превосходная и вместе преутешительная философия“ о загробном воздаянии—одна выдумка.

Понятно, что цензура не разрешила Белинскому напечатать его трагедию. А то обстоятельство, что цензуровало ее университетское начальство, несомненно, самым неблагоприятным образом отразилось на общем отношении к нему этого начальства и было, повидимому, главной причиной его исключения из университета (1832).—Студент, высказавший „безнравственные, безчестящие университет“ идеи, не мог быть терпим в стенах высшего учебного заведения. Официальным предлогом этого, по словам Белинского, „очень нередкого происшествия“ была „неуспешность“ его в науках.

По исключении из университета Белинский перебивается мелкой журнальной работой, преимущественно переводами с французского. В 1834 году в „Молве“ начали печататься его статьи о русской литературе под общим названием „Литературные мечтания“. Эти статьи произвели заметное впечатление, и с этого момента, собственно говоря, начинается деятельность Белинского, как литературного критика. Но к этому моменту Белинский уже далеко не тот наивный отрицатель без всякой веры, каким он вступал на жизненный путь. У него появилась уже—пусть философская—вера и за утверждение этой веры он ведет теоретическую борьбу.

Влияние университетской науки в развитии Белинского можно совсем не учитывать. Московский университет в то время был далеко не похож на рассадник просвещения. В нем господствовала рутина, двери и окна его были тщательно закупорены, чтобы в умы питомцев не проникло ни малейшего духа вольномыслия. Весь режим был подчинен все той же погашательской тенденции, которая внедрилась в официальную науку еще в конце александровского царствования. Этот режим прекрасно характеризовал в одном из своих писем сам Белинский. „Чтобы жить безопасно,—писал он,—надобно даже урянднику-унтеру льстить, надеть на себя постную харю, скорчиться в три погибели, беспрестанно творить молитвы, всем и каждому кланяться и перед каждым подличать. Нет ничего грубее, подлее обхождения Голохвастова (исполнявшего должность ректора) со студентами: ругается, как извозчик, обходится с нами хуже, нежели со своими лакеями“.

Но влияние университетов обычно не исчерпывается профессорскими лекциями и внешним режимом. Студенческая среда, складывающаяся под воздействием факторов, не имеющих ничего общего с казенным просвещением, является воспитателем порою гораздо более действительным. Так было и с Белинским. Именно в первые тридцатые годы среди студенчества замечается уже некоторое, хотя и неопределенное, брожение. Как рассказывал об этом периоде в жизни Московского университета К. С. Аксаков, первым мотивом студенческой жизни было „чувство общей связи товарищества“. Молодежь инстинктивно чувствовала, что она собрана в стены учебного заведения „во имя науки, во имя высшего интереса истины“. Общественные различия в этой среде утрачивались. „Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигала вперед здоровую молодость“. И двигала в направлении постановки именно тех вопросов, которые об'ективно выдвигались всем строем общественных отношений тогдашней России. Конечно, интересы теоретические преобладали: это был как раз период теоретического выяснения и подготовки, всегда предшествующий политической практике. Но, как говорил другой бывший студент того времени, наука не отвлекала студентов от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. „Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову“.

Кружок Станкевича, в который вступил Белинский, был одним из проявлений студенческого брожения. В этом кружке преобладал интерес к немецкой идеалистической философии, в отличие от кружка Герцена, который интересовался преимущественно теориями утопического социализма. Но интерес кружка Станкевича к модной идеалистической философии вовсе не знаменовал собою отхода этих молодых людей от жизни. Мы знаем, что в Германии эта философия

в период своего расцвета и известными своими сторонами играла в социальном отношении положительную роль: она отражала и отражая, организовала стремления прогрессивной части немецкой буржуазии. Ту же по существу роль играют немецкие теории в деле развития общественного сознания русской интелигенции. „Белинский,—говорит Г. В. Плеханов*),—искал в философии пути к счастью,—и, конечно, не к личному счастью, а к счастью своих ближних, к благу родной страны... Во времена Белинского пути к счастью в философии искала почти вся мыслящая Европа. Поэтому-то философия и имела тогда такое огромное общественное значение“. То, что применимо к Белинскому, вполне применимо и к его друзьям, ибо если они, в частности сам Станкевич, были его учителями в философии, то он, со своей стороны, несомненно, заражал их своим энтузиазмом к общественному благу. Все свидетельства,—в том числе и самого Белинского в его переписке позднейшего времени,—сходятся на том, что об руку с увлечением философией шли другие интересы—литературные и политические.

Впрочем, слово „политика“ в 30-х г. г. означало совсем не то, что понималось под ним и раньше, и в последующие периоды. Это было чисто отвлеченное осуждение зол современной жизни без всяких попыток наметить конкретные методы к достижению более совершенного политического и социального устройства. И такое именно осуждение, такое отрицание современной—и не только русской—действительности в кружке Станкевича господствовало. Это был во всех смыслах кружок русских просветителей, причем просветительство его было облечено в немецкий, а не во французский костюм.

III.

Философия Шеллинга, которая на первых порах оформляет искания юных идеалистов, провозглашала тождественность природы и духа в абсолюте. Она признавала мировую душу, проявляющуюся в периоде, как жизненное начало, и организующую весь мир в единую систему. Человеческий разум есть высшее сознание природою самой себя. Бог, или нравственный миропорядок доказывается всей историей человечества, в которой, якобы, царит предустановленность. Доказательство бога от целесообразности в природе играет подчиненную роль. В христианстве открывается людям идеальный мир, в нем божественность делается достоянием человека.

Это насквозь идеалистическое мировоззрение, приводящее к мистическому пантеизму, становится религией для Белинского. Оно заполняет без всякой борьбы и без заметной душевной драмы то место в его нравственном мире, которое было в ранней юности очищено первыми отрицаниями. Но в то же время оно не уничтожает пока что самих этих отрицаний, уживается с ними, как ни противоречиво на наш взгляд такое сожительство **).

---

*) В статье, „Белинский и разумная действительность“. Мы цитируем по сборн. статей Плеханова „В. Г. Белинский“ под ред. В. Ваганяна, ГИЗ, 1923, стр. 115.

**) Белинский не сразу стал шеллингианцем. Со Станкевичем и его кружком он был близок уже в 1833 г., но только в 1834 г. принял новую систему. О том, что у него была какая-то „старая“ система, видно из письма Станкевича к нему. Именно то обстоятельство, что его дошеллингианские взгляды не имели никакого ясного отражения ни в его драме, ни в его переписке и заставляет нас предполагать, что это была система готовых отрицаний в духе французской философии, не выношенная и не продуманная. К этому надо еще заметить, что не имеется никаких указаний на сколько-нибудь обстоятельное знакомство его с французской философией XVIII века.

Настроения, порожденные у Белинского, как и у Станкевича и других членов кружка, шеллинговым пантеизмом, прекрасно описаны биографом Станкевича П. В. Анненковым. „Каким то торжеством,—говорит он *), — светлым, радостным чувством исполнилась жизнь, когда указана была возможность об‘яснить явления природы теми же самыми законами, каким подчиняется дух человеческий в своем развитии, закрыть, повидимому навсегда, пропасть, разделяющую два мира, и сделать из них единый сосуд для вмещения вечной идеи и вечного разума. С какою юношескою и благородною гордостью понималась тогда часть, предоставленная человеку в этой всемирной жизни! По свойству и праву мышления, он переносил видимую природу в самого себя, разбирал ее в недрах собственного сознания, словом, становился ее центром, судьею и об‘яснителем. Природа была поглощена им и в нем же воскресала для нового, разумного и одухотворенного существования. Чем светлее отражался в нем самом вечный дух, всеобщая идея, тем полнее понимал он ее присутствие во всех других сферах жизни. На последнем месте его воззрения стояли нравственные обязанности, и одна из необходимейших обязанностей—высвобождать в себе самом божественную часть мировой идеи от всего случайного, нечистого и ложного для того, чтобы иметь право на блаженство действительного, разумного существования“.

Белинский, как мы сказали, был учеником Станкевича и других, потому что, вследствие незнания им немецкого языка, непосредственный доступ к немецкой философии был ему отрезан. Только в этом смысле и нужно понимать влияние на него кружка Станкевича, да еще разве в том, что здесь он находил сочувственных слушателей для своих пламенных импровизаций. Вообще же как не раз справедливо отмечалось, он обладал огромной способностью к самостоятельному отвлеченному мышлению. Плеханов, лучше, чем кто-либо, знавший и понимавший Белинского, говорит даже, что он был „одной из высших философских организаций, когда-либо выступавших у нас на литературном поприще“. Естественно, что заимствуя в кружке Станкевича идеи шеллингианства, он вполне самостоятельно перерабатывал и истолковывал их в своих статьях.

Как же вылилась „религиозность“ Белинского в самом начале еог восхождения к материалистическому атеизму? Вследствие досадного пробела в его переписке именно в этот период, нам придется обратиться к Белинскому подцензурному. Следующие выдержки заимствованы из его „Литературных мечтаний“.

„Весь беспредельный прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи, проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном многообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать в свои светлые мгновения, как велико тело этой души свеленной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, т.-е. беспрестанно творит, чтобы разрушать и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце и великолепную планету, в блуждающую комету; она живет и дышит—и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в ше-

*) „Н. В. Станкевич“ в „Воспоминаниях и критических очерках“, СПБ 1881, т. 3 стр. 286.

лесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения...

„Кружится колесо времени с быстротою непостижимою, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся вулканы, и зажигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ.

„Так—идея живет: мы ясно видим это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидит, все держит в равновесии: за наводнением и за лавою ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою—чистоту и свежесть воздуха... Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая. Где же ее любовь? Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любви! Итак, она не только мудра, но любяща. Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действование, а действование есть борьба; не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего „я“ в чувстве любви... Отрекись от себя, подави твой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное „я“, дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для счастия человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай свое соединеиие с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего „я“, в чувстве беспредельного блаженства!..

„Сочувствуй природе, люби и уважай ее, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатления благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонение злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба... Вот нравственная жизнь вечной идеи. Проявление ее—борьба между добром и злом, любовью и эгоизмом, как в жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без действования нет жизни“!

Такова „религия“ Белинского. Здесь поэзии больше, чем философии, а теологии, можно сказать, и на грош нет. Шеллингианство дало только канву, на которой живая фантазия вывела яркие узоры. Как ни чужды нам все эти вечные идеи, мировые души, бессмертие в беспредельном блаженстве и т. д., мы ясно видим, что для самого Белинского центр тяжести лежит не в отвлеченных понятиях, а в тех выводах, которые он, независимо от всякой логики, из них делает. Эти выводы—борьба за справедливость и правосудие, отречение от эгоистических побуждений, альтруизм... В более конкретном приложении шеллингианства к действительности, однако, мы встречаем у него взгляды, дисгармонирующие с этим тоном. Так, он утверждает, что преобразования Петра I были преждевременны, уклонились от предначертанного „непреложным законом провидения“ пути развития русского народа, посягнули на народную физиономию и в результате—разрыв между народной массой и интеллигенцией,

обществом. Народ остался при прежней грубости и дикости, а общество „забыло все русское". Отсюда весьма убогий вывод: нам нужно просвещение, понимаемое в узком смысле ученья, а литература, т.-е. просвещение в широком смысле, придет со временем и само собой. „И это просвещение" (ученье) „не закоснит, благодаря неусыпным попечениям мудрого правительства. Русский народ смышлен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней". Цель, как видим, совсем мизерная, но надежда даже и этой жалкой цели совсем не соответствовала.

Маленький результат большой философии Белинского нужно об'яснить не минутным увлечением и не кратковременным проявлением примирения с николаевским режимом, предвестниками грядущих его увлечений в этом направлении, а тем, что он, как и его друзья, в эту эпоху не видел **никаких** выходов из того тупика, в который завела страну реакция. За соломинку „мудрого правительства" в таких обстоятельствах всегда хваталась рука просветителей. А кроме того, идеалистическая философия сама по себе весьма предрасполагала к примирительным настроениям.

У Белинского в течение всего его увлечения идеалистической философией преобладает примирительное настроение. Но порой его мятежный дух берет верх над теоретическими внушениями. Такие вспышки, возможно, имели место и в шеллингианский период, только до нас не дошло известий о них.

В 1835 или 1836 г. Белинский познакомился и близко сошелся с М. А. Бакуниным, знаменитым впоследствии проповедником анархии и практическим революционером. В это время Бакунин был всего только офицером (он вышел в отставку в декабре 1835 г.), совершенно несамостоятельным в своих суждениях и далеко не революционером. Он только что был вовлечен тогда в сферу притяжения кружка Станкевича и, подобно остальным членам этого кружка, погрузился в изучение немецкой философии. В этой области он скоро опередил даже своего учителя Станкевича или, во всяком случае, стал пользоваться не меньшим авторитетом. Не отличаясь особенно сильным умом, он обладал способностью легко усваивать и блестяще популяризировать усвоенное. В этом, да еще в яркой темпераментности и заключается секрет его влияния на друзей и в частности на Белинского.

В письмах и к самому Бакунину, и к другим членам кружка — Белинский не раз вспоминает о первом периоде их дружбы. Его пленило в нем „кипение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине", т.-е. все те качества, которыми не менее богато был одарен он сам. Второй источник горячей симпатии к Бакунину лежал в сходстве духовных интересов. В это время Бакунин внимательно изучал философию Фихте и восторгался ею. Несколько лекций Фихте он перевел на русский язык для „Телескопа", журнала, в котором Белинский играл руководящую роль. Перевод произвел сильное впечатление. Надо помнить, что Белинский очень плохо знал в то время немецкий язык и не мог читать немецких философов в подлинниках. Он стал смотреть на Бакунина, как на „спутника по одной дороге". Затем, по приглашению Бакунина, Белинский приезжает в Прямухино—имение Бакуниных. Здесь начавшаяся дружба крепнет, и влияние Бакунина очень скоро принимает характер совершенно деспотический. По крайней мере, так вспоминает об этом сам Белинский,

и, зная Бакунина, легко можно себе представить, что так оно и было в действительности.

Белинский **принял** от Бакунина фихтеанство. Это произошло конечно, не только потому, что так потребовала дружба Бакунина. По его собственным словам, он болезненно ощущал неудовлетворенность теми основами миросозерцания, которыми наградила его шеллингова философия. „Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоилась в моих понятиях“,—говорит он. В Прямухине на примере окружавших его людей он увидел, что и в действительной жизни возможна „гармония“. А знакомство с идеями Фихте привело его к убеждению, что „идеальная то жизнь есть именно жизнь действительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, придаток, ничтожество, пустота“. Затем, Бакунин доказал ему, что „мышление есть нечто целое, нечто одно, что в нем нет ничего особенного и случайного, но все выходит из одного общего лона, которое есть бог, сам себе открывающийся в творении“.

Судя по тому, что, в один из своих позднейших припадков философской религиозности, Белинский вспоминал об этом времени, как о периоде неверия, можно думать, что в фихтевского „бога“ он серьезно не поверил. Обладая, при всех своих теоретических отрицаниях действительности, потребностью приводить всякую отвлеченную мысль в связь с конкретными фактами, он не замедлил и фихтевские отвлеченные теории слить воедино с фихтевскими же радикальными взглядами на французскую революцию, на роль положительных религий и т. д. Это был,—вспоминает он,—„кровавый безумный период моей отвлеченности,... я смело давал рецепты от всех душевных болезней и подорожные на все пути жизни“. „Фихтианизм,—говорит он еще,—я понял как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови“. Вслед за Фихте он оправдывал революцию, террор и, вероятно, борьбу с религией. „Что было, то должно было быть, и если было необходимо, то было и хорошо и благо“,—такова та формула, которою он покрывал эту вспышку своего радикализма. С обычной неистовостью он вступал в споры даже с людьми малознакомыми. Он вспоминает даже случай, когда „забыл приличие, за ласку и внимание почтенного старца (отца Бакунина) начал платить дерзким и оскорбительным презрением его убеждений и верований“.

Для полноты характеристики Белинского в этот период, добавим, что наряду с Фихте он высоко ценит, хотя и очень плохо знает, французских просветителей, но особенное упоение доставляет ему Шиллер. По его позднейшему и, конечно, пристрастному определению, Шиллер внушил ему „страшную идею долга“, „абстрактный героизм“. „Разбойники“, „Коварство и любовь“, „Фиеско“ наложили на него „дикую вражду к общественным порядкам во имя абстрактного идеала общества“. Все это, вместе взятое, позволит нам в полной мере уяснить, какой крутой поворот проделывает он в ближайший период своего развития.

Фихтеанство, по словам самого Белинского, принесло ему великую пользу, хотя и причинило много страданий нравственного порядка. Польза, несомненно, состояла в том, что он сделал большие успехи в области отвлеченного мышления. Он „серьезно подумал и передумал обо всем, о чем прежде думал только слегка“, и научился „добиваться логической полноты и целости“ в своих взглядах. Причиной пережитых им нравственных страданий, или, как он говорит еще, распадения, следует признать полное несоответствие между „идеальной“ точкой зрения и той действительностью, которая, во-

преки всем отрицаниям и игнорированиям ее, всеми своими отрицательными сторонами неустанно напоминала о себе. Нравственные страдания и заставили Белинского сделать крутой поворот. На этот раз он повернулся спиной к идеалу, а лицом к действительности. Но он повернулся лицом к действительности не для того, чтобы бороться с ней, а для того, чтобы принять ее во всей неприглядности. Этот новый фазис в его развитии совершается под знаком увлечения гегельянством.

IV.

Общее представление о философии Гегеля Белинский, конечно, имел раньше, и этого общего представления для него было достаточно, чтобы еще до более полного знакомства наметить ту теорию примирения с действительностью, которая нашла себе яркое выражение в его известных статьях о Бородинской годовщине и о Менцеле—критике Гете.

К переходному периоду, когда, по выражению самого Белинского, „дух утомился отвлеченностью и жаждал сближения с действительностью“, относится письмо его к Д. П. Иванову, в котором чрезвычайно ярко обозначился переворот в его мировоззрении. Наряду с поучениями чисто житейского свойства—(Д. П. Иванов—родственник и друг детства Белинского), мы находим здесь и поучения философские и целую теорию политического приспособленчества. Особенно замечательно здесь то, что реакционные политические положения непосредственно выводятся из положений идеалистической философии.

Философия есть начало и источник всякого знания; без нее всякая наука мертва, непонятна и нелепа. Философия есть наука чистой, отрешенной от частных явлений идеи. Другие науки, как история, естествознание, рассматривают идею в явлении. Отсюда следует, что идея важнее явления, душа важнее, чем тело.

Воспринять чистую идею можно лишь очистив предварительно душу от проказы земной суеты. Путь философии поэтому лежит через религию, которая есть истина в созерцании, тогда как философия, есть истина в сознании. Истину в сознании невозможно иметь, не обретя ее предварительно созерцательным путем.

Созерцательная, религиозная истина заключается, конечно, в „стремлении к богу“. „Бог есть любовь и истина,—догматизирует Белинский пока еще в духе шеллингианства.—Бог не есть нечто отдельное от мира, но бог в мире, потому что он везде... Он во всяком благородном порыве человека, во всякой светлой его мысли, во всяком святом движении его сердца. Мир или вселенная есть его храм, а душа и сердце человека, или, лучше сказать, внутреннее **я** человека, есть его алтарь, престол, его святая святых. Ищи бога не в храмах, созданных людьми, но ищи в сердце своем, ищи его в любви своей... Возлюби науку и искусство, возлюби их, как цель и потребность твоей жизни, а не как средство к образованию и успехам в свете,—и ты будешь блажен... Отвергнись, отрекись самого себя для истины, будь счастлив истиною, а не своими успехами... Вне мысли все призрак, мечта; одна мысль существенна и реальна; тело твое сгниет, но твое **я** останется; следовательно, тело твое есть призрак, мечта, но **я** твое существенно и вечно“.

Христианство, по Белинскому, было истиною в созерцании, т. е. верою; теперь оно должно стать истиною в сознании—философиею. Немецкая философия есть „развитие и об'яснение христианского учения, как учения, основанного на идее любви и идее возвышения

человека до божества путем сознания“. Именно она дает **истинное** просвещение, исключающее всякую предвзятую идею о пользе. „Не из желания распространить в своем отечестве здравые понятия должен ты учиться, а из бесцельной любви к знанию, а польза общественная будет и без твоего желания... Человек обманывается, когда думает давать обществу направление и вмешиваться в дела мироджержавного промысла“. Поэтому... „к черту французов: их влияние, кроме вреда, никогда ничего не приносило нам“. „К черту политику, да здравствует наука!“. Во Франции и наука, и искусство, и религия сделались или, лучше сказать, всегда были орудием политики, а потому там нет ни науки, ни искусства, ни религии... Французы все выводят из настоящего положения общества, а потому у них нет вечных истин, но... на каждый день новые истины. Они все хотят вывести не из вечных законов человеческого разума, а из опыта, из истории, и потому не удивительно, что они в конце XVIII века хотели возобновить римскую республику, забыв, что одно и то же явление не повторяется дважды и что римляне не пример французам“.

Просвещение—путь к счастью также и для России, но так как идея пользы должна быть из просвещения исключена, то, естественно, что человек, желающий счастья России, должен бояться всякого политического влияния на свой образ мыслей. „Политика у нас в России не имеет места, и ею могут заниматься только пустые головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства, тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею страною в мире“.

Россия еще дитя, для которого нужна нянька. Мы не имеем прав, мы рабы еще, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. „Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию—значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть **воля**, а воля—озорничество. Гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретается сознанием“, т.-е., по теории Белинского, путь к гражданской свободе ведет через философию. В крепостной, бесправной, отсталой России все, по его мнению, хорошо и все идет к лучшему. Правительство запрещает писать против крепостного права, но исподволь само освобождает крестьян. Дворянство наше „издыхает само собою без всяких революций и внутренних потрясений“, потому что у нас нет майоратства. Да и во многом происходит движение к лучшему. И что причиной этому? Распространение просвещения, но еще более того самодержавная власть, охраняющая нас от всяких враждебных влияний.

Итак, „быть апостолом просвещения—вот наше назначение... Будем подражать апостолам христа, которые не делали заговоров и не основывали ни тайных, ни явных политических обществ, распространяя учение своего божественного учителя“.

Таков Белинский в роли учителя мракобесия! И это еще только начало его падения. Через некоторое время перед ним снова, как „провозвестник истины“, должен был появиться Бакунин, на этот раз с Гегелем вместо Фихте в руках, и провозгласить: **все действительное—разумно.** Эту великую истину Белинский пока еще только предчувствует; она для него еще не откровение, освещающее происшедший в его мыслях переворот, не „сознание“, а только „созерцание“.

Это произошло в конце 1837 года. „Приезжаю в Москву с Кавказа,—рассказывает Белинский в письме к Станкевичу,—приезжает Бакунин,—мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся: сила есть парво и, право есть сила;—нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал эти слова—это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей, я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности,—и кончилась моя тяжкая опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде. Я раскланялся с французами... Слово „действительность“ сделалось для меня равнозначительно слову „бог“... Я освирепел, опьянел от этих идей—и неистовые проклятия посыпались на благородного адвоката человечества у людей—Шиллера. Учитель мой возмутился духом, увидев слишком скорые и слишком обильные и сочные плоды своего учения, хотел меня остановить, но поздно, я уже сорвался с цепи“...

Такова история и внешняя сторона лучшего, или по крайней мере, примечательнейшего, по его же словам, времени его жизни. В своем же примирении с действительностью, ставшей богом, Белинский заходит так далеко, что впоследствии не мог без ужаса и отвращения подумать об этом.

В статье о Менцеле, исходя из положения—„все, что есть необходимо, разумно и действительно“, Белинский строго разграничивает сферы политики и искусства. Художники не должны вмешиваться в дела правительственные, а их обязанность **быть органом** деяний государственных мужей. Мир истории есть разумно-действительное развитие божественной идеи. Все явления действительности, даже самые ужасные, преступные, должны рассматриваться как необходимые явления духа, не подлежащие, вследствие их предопределенности, мятежной критике.

В России,—говорит Белинский в другой статье,—„правительство всегда шло впереди народа, всегда было звездою путеводною к его великому назначению; царская власть всегда была живым источником, в котором не иссякли воды обновления, солнцем, лучи которого, исходя из центра, разбегались по суставам исполинской корпорации государственного тела и проникали их жизнью и светом“. Царская власть никогда не была произвольно-случайною, потому что „она всегда таинственно сливалась с волею Проведения—с разумною действительностью“.

Наконец, в обширной рецензии на книгу Глинки по поводу Бородинской годовщины он с чисто поповским усердием и совсем не философскими доводами подкрепляет формулу писания—„несть власть аще не от бога“.

„Кто внушил человеку,—пишет он, ссылаясь на эти слова писания,—чувство мистического, религиозного уважения к виновнику дней своих, освятил и сам звание отца, тот освятил сам и звание царя, превознес его главу превыше всех смертных и земную участь его поставил вне зависимости от случайной воли людской, сделав личность его священною и неприкосновенною... Царь есть наместник божий, а царская власть, замыкающая в себе все частные воли, есть преобразование единодержавия вечного и довременного разума... Из миллионов людей он один избран богом и миллионы не могут ревновать его избранию и добровольно преклоняют перед ним колени, как перед существом высшего рода, и охотно повинуются ему“. Совсем в таком духе витийствовал и распинался за царскую власть за сто

с лишним лет до Белинского Феофан Прокопович, а после него все рясофорные пастыри православной церкви. И не только в таком духе, но почти теми же словами *).

Понятно, что опустившись до такого применения своей „высшей“ истины, Белинский не может уже удержаться и в непосредственно относящихся к религии вопросах на прежних позициях.

Мы остановимся на вопросе о бессмертии души, вопросе, как известно, ни разу не затронутом Гегелем в его сочинениях и решавшемся им, конечно, отрицательно. Белинский до сих пор также вопрос о бессмертии решал в духе пантеизма, т.-е. личное бессмертие отвергал. Теперь не то: идея бессмертия манит его, волнует, он бессмертия жаждет и готов пойти против авторитета учителя.

„Глубоко уважаю Гегеля и его философию,—пишет он Бакунину в октябре 1838 года,—но это мне не мешает думать, что еще не все приговоры во имя ее неприкосновенно святы и непреложны. Гегель ни слова не сказал о личном бессмертии, а ученик его Гешель эту великую задачу, без удовлетворительного разрешения которой еще далеко не кончено дело философии, избрал предметом особого разрешения“.

Эти слова недвусмысленно говорят о том, что Белинский требовал от философии именно положительного разрешения вопроса. Гешель был правый гегельянец, выступивший с тремя доказательствами бессмертия человеческой души против Рихтера, доказывавшего, что по учению Гегеля, личное бессмертие невозможно, и утверждавшего, кроме того, что стремление к бессмертию безнравственно.

В другом письме, делясь с другом мыслями, вызванными в нем смертью Л. А. Бакуниной, Белинский восклицает: „Живет общее, гибнут индивиды. Но что же такое это общее? Сатурн, пожирающий собственных детей? Нет, без личного бессмертия духа жизнь—страшный призрак! Нет, она жива и блаженна, и мы будем некогда живы и блаженны! Нет смерти! Только мертвые хоронят мертвых. Воскресение христа не есть же символ чего-нибудь другого, а не воскресения! Наша конечность боится этих вопросов и оставляет их в стороне. Чего мы не постигаем, то для нас—темные места в Евангелии. Нет, там каждая буква есть мир мысли, и скорее прейдет земля и небо, нежели одна иота из книги жизни! Я верю и верую!—„Те жестоко ошибаются, которые думают, что умереть легко, когда сильна вера в личное бессмертие: жизнь должна быть дорога каждую минуту, потому что и там и здесь—жизнь одна, и кто не любит здешней жизни, тот не найдет и будущей. Отвержение здешней жизни, есть отвержение всякого бытия. Для духа нет места, нет отечества: дух везде равен самому себе“.

Мы видим таким образом, что Белинский обеими ногами становится на почву правого гегельянства, и в самой Германии служившего не за страх, а за совесть королевскому абсолютизму. С практической точки зрения это было падением, и как падение впоследствии расценивал он сам эту эпоху своей жизни. Падение это было обусловлено отнюдь не тем только обстоятельством, что

*) Маленький пример: Проповедник конца XVIII-го века Амвросий Подобедов говорил: „Цари не по случаю какому-либо, но по премудрому божию совету избираются и по воле его поставляются. Несть власти аще не от бога; и суть они ни что другое, как образ величия божия и изображение владычества его над человеками, провозвестники и верховные исполнители воли его... В царских деяниях не над мыслями только царей действует бог, но и волею, и советами, и намерениями их располагает...“.

Белинский, вместе с Бакуниным и еще некоторыми своими друзьями, подпал под иго теории. Конечно, теория в его отношении к действительности сыграла значительную роль. Но эту роль теория могла сыграть лишь при наличии тех предпосылок общественного и личного порядка, о которых было сказано раньше. Такие люди, как Станкевич, Белинский, Бакунин и другие, являясь идеологами передовой части русского общества, в своем индивидуальном развитии не могли не отразить с большей или меньшей точностью всех тех настроений, которые у этой части общества господствовали. **Примирение Белинского с действительностью есть индивидуальное отражение общественной реакции.** Особенностями его психической организации можно об'яснить лишь исключительно глубокий характер его „падения" и отталкивающие формы, какие приняло его примирение с действительностью. Белинский 40-х г. г., с его последовательным демократизмом и революционностью, материалист и атеист, в лице Белинского 30-х годов, должен был глубоко переболеть всеми теми болезнями, без которых общественное развитие не обходится. И в Германии многие левые гегельянцы, прежде чем стать левыми и революционерами, были правыми и консерваторами. Таков диалектический путь высвобождения революционных элементов, заложенных в учении Гегеля.

Г. В. Плеханов еще в 90-х г. г. прошлого столетия в своей статье „Белинский и разумная действительность" вполне убедительно опроверг господствовавшее в русской литературе мнение, что, будто бы, Белинский потому зашел так далеко в своем примирении с действительностью, что плохо и ошибочно истолковал Гегеля*). На самом деле Белинский ничуть не грешил против той теории, которую принял. Он вполне усвоил себе дух той стороны гегелевской философии, которая и в Германии служила реакционной политике, которая была там провозглашена государственною философией и преподавалась в университетах, как лучшее противоядие от религиозного и политического свободомыслия. Плеханов показал наглядно, что „примирительные" взгляды Белинского почти тождественны со взглядами, выраженными Гегелем в предисловии к его „философии права". „Разница,—говорит он,—только в том, что „неистовый Виссарион" горячится гораздо больше, чем спокойный немецкий мыслитель, а потому и доходит до таких крайностей, до каких не договаривался Гегель".

Точно также неверно и утверждение, что Белинский разошелся со своими друзьями. Конечно, многие,—и очень резко иногда,—порицали его крайние взгляды. Но это происходило от того, что они не отличались тем теоретическим мужеством, какое характеризовало его. „Белинский позднее, чем кто бы то ни было из его друзей,—например М. Бакунин и Н. Станкевич,—усвоил консервативный дух **той** философии Гегеля, которая из'являла претензию быть **абсолютной истиной.** Вероятно он и сам чувствовал это и потому на него плохо действовали дружеские увещания, имевшие целью ослабить его примирительную горячность: ведь друзья стояли на точке зрения той

*) Доказательства Плеханова отличались исключительной убедительностью; кроме того он впоследствии к ним вернулся в статье о Белинском, вошедшей в „Историю русской литературы XIX в.", изд. Т-ва „Мир". Тем более странным представляется поэтому, что в написанной Н. О. Лернером биографии Белинского (Изд-во З. И. Гржебина, 1921) эта допотопная, можно сказать, точка зрения нашла полный кредит. „В русских умах, в том числе в уме Белинского,—говорит Н. О. Лернер,—Гегель отразился неверно". Белинский „с головой ринулся в созданную этим ложным истолкованием Гегеля нирвану" (стр. 99—100 наз. книги).

же будто-бы абсолютной истины, которую проповедывал теперь Белинский вслед за Гегелем, а с той точки зрения всякие уступки „либеральным говорунам“ были лишь жалкой непоследовательностью“ *).

Таким образом, необходимо признать, что увлечение Белинского теоретически было оправдано тем, что он был верен занятой его кружком позиции. Но эту теоретическую позицию он занял вследствие назревшей у него значительно ранее обстоятельного знакомства с Гегелем потребности пересмотреть тот свой взгляд, что идеал—все, а действительность—ничто, потребности разделаться с „абсолютным героизмом“. „Дикая вражда с общественным порядком“, доставившая ему, именно благодаря своей неприложимости к действительной жизни, так много нравственных страданий, уступает место не менее „дикому“ примирению с этим же самым общественным порядком. Признав теперь, что действительность—все, а идеал—ничто, он на некоторое время **нравственно** успокаивается. Но под этой умиротворенностью мы без труда можем обнаружить неустанную работу теоретической мысли, прокладывающей новый путь и подготовляющей новые достижения.

Как это ни странно, но он **идеализирует** восхваляемую им действительность, и уже в одном этом факте заключается об‘яснение того нового скачка в его развитии, который он собирается сделать. Он пытается доказать, затем, ее разумность и логически принуждается этим придти к той мысли, что разумность российской действительности нуждается в некоторых поправках, правда, пока еще не политических, но „научных“. Он, наконец, приходит к весьма важному теоретическому выводу—вполне гегельянскому, что идея „отрицания“, которую он применил к идеалу ради утверждения существующей действительности, в свою очередь нуждается в развитии, т.-е. другими словами, русская действительность должна быть рассмотрена диалектически, как явление временное и преходящее. Конечно, справиться вполне с этой последней задачей Белинскому не было дано, он даже не в состоянии был правильно ее поставить. Но он ее почувствовал, он вплотную подошел к ней и подошел вполне самостоятельно. Этого он не смог бы сделать, не пройдя „примирительной“ стадии своего личного развития.

Матеариализм и атеизм В. Белинского.

V.

В марте 1841 года, ознакомившись с выдержками из напечатанных в „Галльских Летописях“ статей левых гегельянцев, Белинский говорит, что он давно уже подозревал, что „философия Гегеля—только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к (непечатное выражение) не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними“. Этими словами он устанавливает тот факт, что преодоление абсолютного и консервативного гегельянства и переход на диалектическую точку зрения происходили у него постепенно, еще в то время, когда он пел дифирамбы самодержавию, православию и крепостному рабству. Этот переходный период был довольно продолжительным и весьма тягостным, так как переживал его Белинский в полном духовном одиночестве и совершенно самостоятельно. Никакой друг, хотя бы тот же Мишель Бакунин, не явился перед ним с новой книгой откровения в руках и никакая новая теория не об-

*) Г. В. Плеханов „В. Г. Белинский—сборник статей“, стр. 126.

легчила тяжелых мук рождения его нового мировоззрения. Тем более ценны для нас достижения ума Белинского и тем больше оснований имеем мы восхищаться им.

Новая позиция, которую прочно занимает Белинский с самого начала 40-х г.г., определяется отрицательным отношением к российской действительности во имя конкретного идеала. Он снова загорается героическими порывами, но этот свой героизм теперь он не назвал бы абстрактным, как не назвал бы свою новую вражду к действительности дикой.

„Действительность—это палач!"—говорит он и выражает этими словами не толеко свое общее и теоретическое отношение, но и свое личное ощущенье. В вечных тисках материальной нужды, терзаемый без конца тем бесправным режимом который на нем, как на литераторе, отражался особенно сильно, он революционизируется с каждым годом, с каждым месяцем все больше. Из прекраснодушной помещичьей и купеческой полуазиатской Москвы он 1839 году переселился в Петербург, бюрократический, чиновный и полуевропейский. Здесь практика русской действительности резким контрастом выступила против идеалистической теории.

Хотя и в Москве сомнения в истиности его построений довольно часто закрадывались к нему в душу, но там для них было слишком мало данных. В Питере факты толпой накинулись на него. „Петербург был для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушие",—пишет он вскоре по переезде одному из своих друзей. „Досада, злость, желчь, апатия, бешенство"—преобладают в нем. „В Питер бы вас, дураков,—там бы вы узнали, что такое российская действительность", со злобою говорит он, обращаясь к оставшимся в Москве друзьям. И в разговоре с Герценом, возмущавшимся его статьей о Бородинской годовщине, он признает это влияние петербургских условий: „Три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы".

Вполне естественно, что при подобном настроении он рвет и мечет во всех случаях, когда сталкивается с тем самым подчинением „гнусной действительности", которое еще так недавно сам освящал. Вот сообщаемый Герценом случай из его жизни, относящийся к этому же времени.

„Раз приходит он обедать к одному литератору на Страстной неделе; подают постные блюда.—Давно ли—спрашивает он—вы сделались так богомольны?—Мы едим—отвечает литератор—постное просто-на-просто для людей.—**Для людей**?—спросил Белинский и побледнел:—для людей?—повторил он и бросил свое место.—Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами. Прощайте я не ем постного для поучения, у меня нет **людей**"!

Со свойственным ему неистовством он теперь кается: „Боже мой,—пишет он,—сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всей искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения!". Он перечисляет свои грехи: выходка против возвышенного патриотизма Мицкевича, осуждение „Горя от ума" Грибоедова, восхваления допетровского китайско-византийского монархизма, проклятия французскому народу, льющему кровь за священные права человечества... „Проснулся я—и страшно вспомнить мне о моем сне...—продолжает

он. Это насильственное примирение с гнусной расейскою действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чинолюбия, крестолюбия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности" (в смысле безидеальности), „разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности,—где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое, осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мысли истреблена..., где Пушкин жил в нищенстве и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всею литературою помощию доносов и живут припеваючи... Нет, да отсохнет язык, который заикнется оправдывать все это,—и если мой отсохнет—жаловаться не буду. Что есть, то разумно; да и палач ведь есть же, и существование его разумно и действительно, но он тем не менее гнусен и отвратителен. Нет, отныне—для меня либерал и человек—одно и то же; абсолютист и кнутобой—одно и то же".

Слово „либерал" Белинский понимает не в том ограниченном смысле, в каком оно принято теперь. Либерал для него всякий человек, восстающий против политического угнетения и социального рабства. Либералом он считает себя самого, и стоит послушать каким революционным языком говорит он. „Я весь в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести и мимо их мало замечаю какое бы то ни было величие... Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только в обществе, основанном на правде и доблести".

Он понял свободолюбие римлян,—понял французскую революцию,—„понял кровавую любовь Марата к свободе и его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством, хоть коляскою с гербом". „Я все более и более—гражданин вселенной!—восклицает он.—Я начинаю любить человечество (по) маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечем истребил бы другую". Он теперь фанатически ненавидит. К сожалению, издатель его писем, страха ради цензурна, сильно обкарнал его энергичные тирады против царей.

Его политический идеал—республика. „Гегель мечтал о конституционной монархии, как об идеале государства,—говорит он,—какое узенькое понятие!" Он восхищается Руссо. Путь к обновлению мира он видит только один—беспощадная революция. „Тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами—обоюдоострым мечем слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов".

„Царством божиим на земле" очень часто обозначали идею социализма. И действительно, идея социализма близка и дорога Белинскому. „Я теперь в новой крайности,—пишет он в сентябре 1841 года,—это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она—вопрос и решение вопроса. Она для меня поглотила и историю, и религию, и философию". Его сердце „обливается кровью и судорожно сжимается", когда он видит вокруг себя острые проявления общественного неравенства. Толпа валяется в грязи, а он не может помочь этим людям—его братьям по человечеству и врагам и чужим по их невежеству! Перед ним встает тот самый вопрос, который так часто вставал перед русскими народолюбцами: „имеет ли право при этих усло-

виях человек забываться в искусстве, в знании?!" Правда, он еще не решает окончательно.

Белинский — социалист. Но он социалист по настроению, а не по теории. Социалистический идеал его весьма расплывчат, а путь к осуществлению этого идеала ему неясен. Он мечтает именно о „царстве божием": „не будет бедных, не будет царей и подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, христос даст свою власть Отцу, а Отец—Разум снова воцарится, но уже на новом небе и над новою землей". Это не должно быть возвратом к какой-нибудь первобытной непосредственности. Он хочет „не прежнего бессознательного животного золотого века, но приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло".

Социалистический идеал возник в душе Белинского, как результат отрицательной оценки им современной социальной действительности: он выстрадан им, а не получен в готовом виде извне. Оттого социальные чаяния его свободны от всякого прекраснодушия, так часто и приятно поражающего нас у русских народолюбцев. Белинский любит народ, но он его не идеализирует, и в то же время он не склонен видеть в народе чего-нибудь отвлеченного. Напротив того, он ненавидит темноту народа, его грязь физическую и нравственную, его дикость, понимая, однако, что все эти черты возникли в результате развития и исчезнут, когда изменятся поддерживающие их общественные условия.

Об'ективные условия русской жизни, понятно, не предрасполагали передовых русских людей к особенно глубокому проникновению социалистическими идеями. Перед ними раньше всего стояли просветительные задачи, коренное же переустройство общества рисовалось в огромном отдалении. Со своим чутьем действительности Белинский прекрасно уловил это и оттого сравнительно мало занимался вопросом о приложении своих социалистических взглядов к практической деятельности. Но когда он обращался к Западу, где, как могло тогда казаться, социализм был близок, он обнаруживал глубокое для своего времени понимание его. Он тогда даже покидает свое чисто просветительское убеждение, что „всегда и все делается через личности" и возлагает надежду на рост самосознания трудящихся. В рецензии на русский перевод романа Сю „Парижские тайны", указав на всю иллюзорность буржуазного равенства, он говорит: „Но искры добра еще не погасли во Франции,—они только под пеплом и ждут благоприятного ветра, который превратил бы их в яркое и чистое пламя. Народ (под этим обозначением имеется в виду пролетариат)—дитя, но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституционную мишуру в ее истинном виде. В народе уже быстро развивается образование, он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отрекаясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях „образованного" общества". Рядом с этим ростом самосознания в пролетариате Белинский отмечает с глубоким сочувствием и роль его друзей, тогдашних социалистов. Они возвышают свой голос „за бедный, обманутый народ", но это только до той поры, пока народ не встанет на собственные ноги. Разве это не глубокое и не подлинно социалистическое понимание?

Мы не можем, конечно, останавливаться здесь более подробно на относящихся к этой области взглядах Белинского. Достаточно сказать, что, поскольку он был социалистом, его социализм носил утопический характер. Иначе и быть не могло. Но, как это прекрасно показал в своих статьях о Белинском Г. В. Плеханов, „его гениальная мысль поставила перед ним такие теоретические задачи, правильное разрешение которых прямым путем вело к научному социализму". Особенно верно это в отношении последних лет его жизни. В 1848 г., например, он с поразительной дальновидностью связывает „внутренний процесс гражданского развития в России с возникновением и ростом класса буржуазии, т. е. он ясно видит, что „блаженная страна" лежит за далью капитализма. Вспомним, как много трудов затратил марксизм в России, выколачивая из голов утопистов-народников веру в возможность достигнуть социализма, минуя капиталистическую ступень развития [1]).

VI.

В своих философско-религиозных взглядах Белинский идет по тому же пути, какой он проделал в области вопросов общественных и политических. Его эволюция здесь находится в прямой связи с преодолением им социального и политического консерватизма.

Разделавшись с правым гегельянством, Белинский становится на точку зрения диалектики. Но пока-что он порывает только с абсолютным идеализмом. Философия продолжает для него оставаться „наукою развития в мышлении довременных и бесплотных идей", этих „таинственных и первосущих матерей всего сущего". Только выводы этой „науки" перестают быть непреложными и вечными: они подчинены закону развития, закону отрицания. Другими словами, Белинский признает, что все в мире подчинено одному закону развития идеи. „Ничто не является вдруг,— формулирует он его,—ничто не рождается готовым, но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по моментам, двигается диалектически, из низшей ступени переходя на высшую". Известно, что левое крыло гегельянства, опираясь на эту же самую диалектику, пришло к отрицанию бога и религии. Так же приближается к атеизму и Белинский, только вследствие чрезвычайных внешних препятствий, не давших ему возможности философствовать открыто и с полной свободой, для нас не сохранилось всех тех вех, которыми он отметил этот путь. Впрочем, помимо исходного пункта и конечного результата, мы обладаем некоторыми частными достижениями его на этом пути.

Еще летом в 1839 г., делясь с другом своим В. П. Боткиным „истинными своими страданиями, истинными ранами своей души", он стоит на почве христианской религии, толкуемой по старо-гегельянски, как абсолютная религия. Цель этой религии есть—„возведение личности до общего, возвышение суб'екта до субстанции". Но уже в ноябре того же года „абсолютно религиозная" ясность души нарушена, и в бунте против „философского колпака" Гегеля, он пытается сбросить с себя также и религиозные вериги. „Для меня нет выхода

---

1) Влияние идей Маркса на Белинского (если вообще такое влияние было) можно об'яснить дружеской связью Белинского с Анненковым, который был знаком с Марксом и даже выдавал себя за его сторонника. См. Д. Рязанов „Карл Маркс и русские люди 40-х г.г." 2-е изд., 1920; ср. рассказ самого Анненкова в „Воспоминаниях и критических очерках", т. III.—Между прочим, Иванов-Разумник, в качестве присяжного апологета народничества, находит возможным утверждать, что разрыв Белинского с утопическим социализмом, наметившийся в самом конце его жизни, знаменовал его „зарождающееся народничество". („Книга о Белинском", изд. „Мысль", 1923, стр. 91).

в jenseits (в потустороннем), в мистицизме и во всем том, что составляет выход для полубогатых натур и полупавших душ",—говорит он. Утрата философски-религиозной ясности, сопровождавшей примирение Белинского с действительностью, строго соответствует тому моменту, когда в душе его преобладали „злость, желчь, бешенство" и т. д.

Однако, начав борьбу с собственным религиозным мировоззрением, Белинский скоро спускает тон. Религия вовсе не вздор, говорит он в следующих письмах к тому же Боткину. Пиетизм, т. е. поповская вера, лучше, чем пантеистические построения о религии. „Для меня Евангелие—абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень. **Временем** тепло верится... Да, надо чаще читать Евангелие—только от него и можно ожидать полного утешения". Заметим здесь подчеркнутое нами слово „временем". Теплая и утешительная вера далеко не постоянная гостья его мятущейся души. Он и верит в бессмертие, но в то же время и не верит. И порой, когда вера далеко отлетает от него, он начинает кощунственно насмехаться. Так, однажды, расфилософствовавшись на ту тему, что судьба избрала его чистильным орудием вроде помела или лопаты с тем, чтобы, не дав ему счастья, выбросить, он добавляет: „Так и я: в жизни ни (непечатное выражение), помучусь, поколочусь, как собака, а там и издохну, т. е. погружусь в мировую субстанцию, и в ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди!". Конечно, насмешка эта далека от бездельного озорства. Это поистине „насмешка горькая обманутого сына": мировая субстанция ведь тот же „отец наш небесный" евангелия.

Эти колебания от попыток верить к неверию продолжаются в течение 1840 г. и небольшой части 1841 г. Порой кажется, что вот на этот раз дело кончено, и Белинский отбросит выпитую до дна чашу. Но его жаждущие уста снова и снова тянутся к ней в надежде обрести хоть каплю влаги. Он сам говорил потом: „Я давно уже отрешился от романтизма, мистицизма и всех „измов", но это было только отрицание, и ничто новое не заменяло разрушенного старого, а я **не могу жить без верований**, жарких и фантастических, как рыба не может жить без воды, дерево расти без дождя. Вот причина, почему вы видели меня прошлого года таким неопределенным" (К Н. А. Бакунину, 7 ноября 1842 г.). Отрешившись от верований, он невольно, но уже без всякого убеждения, возвращается к ним всякий раз, когда жизнь каким-нибудь новым ударом возбуждает в нем потребность в религиозном утешении.

Умер Станкевич. Хотя Белинский и говорит, что принял это известие довольно равнодушно, но на самом деле оно глубоко потрясло его. „Каждому из нас казалось невозможным,—пишет он под свежим впечатлением утраты (12 авг. 1840 г.),—чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить ее в ничтожество. **В ничтожество**, Боткин! После нее ничего не осталось, кроме костей и мяса, в которых кишат черви. Он живет, скажешь ты, в памяти друзей, в сердцах, в которых он раздувал и поддерживал искры божественной любви. Так, но долго ли проживут эти друзья, долго ли пробьются эти сердца? Увы! ни вера, ни знание, ни жизнь, ни талант, ни гений не бессмертны! Бессмертна одна смерть..." Приведя несколько строк из державинского „На смерть кн. Мещерского", он останавливается на словах:

Где ж он?—он **там**!—Где там?—Не знаем!"

И продолжает: „Видишь ли, какая разница между прошлым и настоящим веком? Тогда еще употребляли слова **там** и **туда**, обозначая ими какую-то terram incognitam (неизведанную область), которой существованию сами не верили; теперь и не верят никакому **там** и **туда**, как бессмыслице, отвергаемой разумом, и не употребляют даже в шутку этих пустых слов". И Белинский пускается в дальнейшие рассуждения по поводу „вечного ничтожества в лоне матери".

Казалось бы, дальше в отрицании бессмертия идти некуда. Все сомнения разрешены, вопрос признан бессмысленным, недостойным мыслящего человека. Не тут то было. И месяца не прошло, как Белинский готов отвечать по-державински. Личное бессмертие уже— „альфа и омега истины" и „в его решении—наше искупление". „Я плюю на философию,—говорит он,—которая потому только с презрением прошла мимо этого вопроса, что не в силах была решить его. Гегель не благоволил ко всему фантастическому, как прямо противоположному определенно действительному: Катков говорит, что это— **ограниченность**. Я с ним согласен".

Белинский, вопреки „**ограниченности**" старика Гегеля, благоволит фантастическому и уже не согласен похерить вопрос о бессмертии. Друг его Боткин верит в свое бессмертие. Белинский спрашивает своего верующего друга: что же оно такое, это бессмертие? „Если оно и то, и другое, и все, что угодно—и стакан с квасом, и яблоко, и лошадь, то я поздравляю тебя с твоею верою, но не хочу ее себе. У меня у самого есть поползновение **верить** то тому, то другому, но нет силы **верить**, а хочется знать достоверно... Нет, я так не отстану от этого Молоха, которого философия назвала Общим, и буду спрашивать у него: куда дел ты его (умершего друга) и что с ним стало?".

Переписка между друзьми по этому вопросу продолжается, и из нее мы видим, что „ужасное противоречие" между достоинством человеческой личности и ее горькой участью продолжает волновать Белинского. В октябре 1840 г. ему „все так же хочется верить и все так же не верится". Подлинное неверие таких колебаний не знает.

В начале 1841 г. длительный и мучительный процесс переоценки ценностей более или менее завершен уже. Наряду с решительным отрицанием конкретной российской действительности, в Белинском растет стремление путем философской критики обосновать перемену своих убеждений. В это именно время он вполне самостоятельно занимает позицию левого гегельянства. Поэтому, когда Боткин сообщил ему вырезки, из напечатанной в „Галльских Летописях" статьи левого гегельянца Эхтермейера, нападавшего на Гегеля за непоследовательность и измену собственным же принципам, он увидел в этом подтверждение лично добытых им результатов. Присланный отрывок не только порадовал его, но „даже как будто воскресил и укрепил". В „энергичной стукушке по философскому колпаку Гегеля" он увидел доказательство того, что и немцам предстоит возможность сделаться людьми, т. е. начать борьбу с их собственной действительностью.

На что же в первую очередь обращается стремление Белинского в критике?. На „субстанциальные элементы общества"—на освященные и скованные религией устои современной жизни. Разговор между друзьями—все в тех же письмах—заходит о браке. Неистовая натура Белинского взрывается, и неупотребительные в печати, но весьма обычные в дружеском обмене мыслями слова так и сыплются с его языка. Церковный брак—лицемерие. Им, правда,

„держится государство, но в лице толпы презренной, черни подлой“. Церковь ровно ничего не освящает. Одним словом,—к дьяволу все субстанциальные силы, все предания, все обряды, формы! Да здравствует разум и отрицание! (1 марта 1741 г.). „Брак—установление антропофагов, людоедов, патагонов и готтентотов, оправданное религией и гегелевскою философиею“. Белинский, который еще так недавно думал о французах „точь в точь, как думают о них наши богомольные старухи“, теперь боготворит безбожного насмешника Беранже. „Это — французский Шиллер,—говорит он—это—бич предания. Это—пророк свободы гражданской и свободы мысли. Его (непечатное выражение) стихотворения на религиозные предметы—прелесть!“ В другом случае, опять возвращаясь к Беранже, он называет его „великим мировым поэтом, христианнейшим поэтом, любимейшим из учеников христа“.

Здесь кстати заметить, что Белинский рассматривал христианство первоначально совершенно так же, как это делали многие безбожники и революционеры до него и как после него не раз будут толковать „чистое“ христианство многие революционеры и даже, с позволения сказать, социалисты. По словам Достоевского, Белинский выражал убеждение, что если бы христос появился в их время, то он был бы социалистом, борцом за социальное преобразование общества.

Любопытно, что в одном из своих позднейших доносов на „Общественные Записки“ Булгарин извещал „Третье Отделение“ (тогдашнюю охранку), что „Белинский, у которого собиралось юношество, явно называл себя русским Иисусом христом“, Булгарин добавлял, что свидетелей сему можно представить. Ниже, говоря о самом ярком выражении антирелигиозности Белинского, мы опять встретимся с этим его рационалистическим толкованием „учения христа“.

В том же письме, в котором он провозглашает своим девизом „социальность или смерть“, он говорит: „Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих, в качестве верования, волю человека! Отрицание—мой бог. В истории мои герои—разрушители старого: Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон („Каин“) и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется—непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века—великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков, но мне приятнее XVIII век—эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII—рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности“.

Читатель может выразить недоумение: при чем же „бог“ в этой антирелигиозной тираде? Ведь Белинский только что сказал, что он враг всех „субстанциальных начал“, следовательно, и бога в том числе. Это противоречие, надо думать, чисто словесное: под богом, вероятно, разумеется тот самый „отец-разум“—в духе разума-божества французских революционеров,—который в чаемом Белинским социалистическом строе воцарится „в новом небе и над новой землей“.

Что касается антирелигиозности Белинского, то она в этот период носит совершенно тот же характер, каким отличалась антирелигиозность Вольтера и энциклопедистов первого периода „философской битвы“. Отрицая авторитеты, он охотно прибегает к сарказму, к насмешке над простодушием верующих. Маленький пример,—

конечно, из жизни, ибо в литературе Белинский был вынужден держать на цепочке свой неистовый язык,—иллюстрирует эти слова.

Среди друзей Боткина был некто А. Я. Кульчицкий, начинающий литератор, большой поклонник таланта Белинского. Кульчицкий, живший в Харькове, сгорая желанием познакомиться с почитаемым писателем, вступил с ним в переписку и стал даже печататься в журнале Белинского. Наконец, личное знакомство состоялось. Кульчицкий пришелся по душе Белинскому: прекрасный человек, правда—недалек и неглубок, но человечен. Одна беда—он верит в бога. И при первой же встрече Белинский обрушивает на растерявшегося юношу потоки своего обличительного красноречия. „Не обошлось без грубостей,—пишет он Боткину,—но вольно же ему обретаться в ненавистной непосредственности". Он бранит Боткина за то, что тот оставил Кульчицкого „в теплой вере в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, б...т под себя, окруженный сонмами серафимов и херувимов, и свою силу считает правом, а свои громы и молнии—разумными доказательствами" *). „Мне было отрадно,—прибавляет Белинский,—в глазах Кульчицкого плевать ему (христианскому богу) в его гнусную бороду".

„Разум и сознание,—говорит Белинский,—вот в чем достоинство и блаженство человека; для меня видеть человека в позорном счастии непосредственности—все равно, что дьяволу видеть молящуюся невинность: без раскаяния разрушаю я, где и как только могу, непосредственность. И мне мало нужды, если этот человек должен погибнуть в чуждой ему сфере рефлексии, пусть погибает"... Этот антирелигиозный фанатизм, это презрение к религиозным верованиям—„плевать в гнусную бороду"—весьма характерны для неистового Виссариона.

Можно положительно утверждать, что с этого времени—с осени 1841 года—Белинский уже не отклоняется от атеизма. Правда, в его письмах слово „бог" встречается еще частенько. Но оно употребляется обычно **не** в теологическом смысле. Так, узнав о том, что Бакунин, с которым он перед тем разошелся, примкнул к левым гегельянцам и близок с Арнольдом Руге (Белинский не знал в то время, что Бакунин даже сотрудничает в „Немецких Летописях"), он пишет: „мы, я и Мишель, искали бога, но разным путем—и сошлись в одном храме". „Что человек без бога—говорит он в другом случае,—труп холодный". В таком же нерелигиозном смысле употребляется им иногда и слово „религия". Но в то же время нельзя обойти молчанием того, что наш атеист и богохульник готов лицемерно призвать на помощь „мужичка с бородкой", когда доводы безбожного разума не достигают своей цели. В его переписке с М. В. Орловой—его невестой, верующей и весьма преданной освященным церковью обычаям, это житейское лицемерие встречается на каждом шагу. Мы не говорим уже о том, что он женился церковным браком: в тогдашней России гражданский брак был вещью почти неслыханной и преследовался светскими и духовными властями. Теоретически Белинский мог метать стрелы своего сарказма на немецких свободомыслящих, обвиняя их в „подлом кастратстве" за то, что они „противоречат себе, подвергаясь крещению и браку церковному", Практически, конечно, ему приходилось идти на сделки с совестью как в этом вопросе, так и в ряде других.

*) В „Переписке" это место было ослаблено цензурными многоточиями. Цитируем по „Книге о Белинском" Иванова-Разумника.

VII.

Возвратимся к переписке Белинского с Боткиным и поставим теперь вопрос, какую роль в эволюции философски-религиозных взглядов нашего критика играл этот его друг.

В. П. Боткин (1810—1869)—человек во многих отношениях незаурядный. Он происходил из богатого купеческого семейства, получил первоначальное образование в частном пансионе, откуда вынес лишь знание иностранных языков. Одним из образованнейших русских людей он сделался—благодаря собственной энергии и вопреки самым неблагоприятным внешним обстоятельствам. Не дав ему окончить ученье, отец определил его приказчиком в чайный „амбар“ и заставил целые дни просиживать за прилавком. В свободные минуты, урывками Боткин пополняет свое образование. В кружке Станкевича он выделялся своей эрудицией и особенно глубоким пониманием эстетики. В нем преобладал интерес к искусству, но и в области философии и социальных наук он далеко не был профаном. Путешествуя за границей в 1835 году, он увлекался сен-симонизмом. Впоследствии он высказывал мнения о роли экономических интересов в общественной жизни, обнаруживающие замечательное для того времени понимание. В конце жизни, однако, он изменил радикализму своей молодости.

В описываемый нами период жизни Белинского Боткин с серьезным интересом занимается немецкой философией и особенно сочувственное внимание уделяет младо-гегельянскому движению. Хотя он свергнул с себя „татарское иго мистических и романтических убеждений“ позже Белинского, но переживавшийся последним кризис встречает с его стороны сочувствие и одобрение.

Почти каждая новая мысль, каждое достижение Белинского получают из сокровищницы его знаний подтверждение, иногда комментарий. Он переводит для него отрывки из сочинений левых гегельянцев, знакомит его с последними новинками „немецкого печенья“.

Еще в марте 1842 года Боткин пишет в ответ на мысли высказанные Белинским в целом ряде его писем, о происходящем в Европе сдвиге: „Во Франции совершилось отрицание средних веков в сфере общественности; в Байроне явилось оно в поэзии, а теперь является в сфере религии в лице Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра. Человечество сбрасывает с себя одежду, которую носило слишком тысячу лет, и облекается в новую... Дух нового времени вступил в решительную борьбу с догмами и организмом средних веков. И внимательное созерцание современного положения Европы, действительно, представляет гниение и распадение всего старого порядка вещей. Новые люди с новыми идеями о браке, религии, государстве—фундаментальных основах человеческого общества,—прибывают с каждым днем: новый дух, как крот, невидимо бегает под землей—и копает ее—чудный рудокоп“. В том же письме весьма подробно излагается взгляд на христианство, заимствованный отчасти у Фейербаха, но в значительной степени сдобренный идеологической отсебятиной самого пишущего.

Через Боткина Белинский знакомится с „Немецко-французскими Летописями“ которые Руге совместно с Марксом стал издавать в Париже после запрещения в 1843 году „Немецких Летописей“. Боткин же переводит для него отрывки из „Сущности христианства“ Фейербаха.

О том, какое впечатление произвели „Немецко-французские Летописи“ на Белинского имеется его собственное свидетельство. В письме к А. И. Герцену 26 января 1845 года он пишет:

„Кетчер писал тебе о Парижском Ярбюхере, и что я от него воскрес и переродился. Вздор. Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел,—и все тут. Истину я взял себе,—и в словах **бог** и **религия** вижу тьму, мрак, цепи, кнут и люблю теперь эти слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я по-прежнему не могу печатно сказать все, что́ я думаю и как я думаю. А черт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать?—мертвый капитал!“

Конечно, Белинский не переродился: к пониманию той роли, какую бог и религия играют в поддержании тьмы и мрака и в распространении цепей и кнута он был давно подготовлен всем ходом своего развития. В лучшем случае эта истина была подчеркнута прочитанным журналом в его сознании и воплотилась в стремление „популяризировать и обнародовать“. На пути к осуществлению этого стремления стояли непреодолимые препятствия. Оттого „истина“, вызвавшая сначала радость и бодрость, утратила краски и снова нашла себе место среди других таких же бесплодных истин. Но несомненно, теоретическое достижение здесь было и послужило ступенькой к дальнейшему продвижению.

Когда познакомился Белинский с „Сущностью христианства“, прямых известий не имеется. Из рассказа П. В. Анненкова видно, что впечатление, произведенное этой книгой на наших „западников“ по силе своей равнялось приблизительно тому, какое, по словам Энгельса, она произвела на младо-гегельянцев на родине мыслителя. Она чрезвычайно быстро „упраздняла остатки всех прежних, предшествовавших ей созерцаний“. Когда Белинский, говорит Анненков, прочел переведенные для него главы и наиболее замечательные места из книги Фейербаха, он „был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность пред‘являть какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался“. Критика Фейербаха, мол, „опрокидывала его старые мистические и философские идолы“ *). Это сказано, разумеется, черезчур сильно. Во-первых, мистические идолы были более или менее благополучно повергнуты им без всякой посторонней помощи. А во-вторых, к материализму Фейербаха он был вполне подготовлен предварительным знакомством с тем же Фейербахом при посредстве писем Боткина. Впрочем, еще большой вопрос, стал ли он фейербахианцем в настоящем смысле слова.

Дело в том, что к материализму Белинский пришел только в самые последние годы своей жизни. В эти годы его переписка не так богата, как в конце 30-х и начале 40-х г. г., и вопросы мировоззрения затрагиваются в ней сравнительно редко. Его журнальные статьи посвящены преимущественно вопросам литературы и в них он лишь случайно и вскользь касается философии. Поэтому, обладая достаточным материалом, чтобы установить, что в основе взглядов Белинского в конце его жизни лежала материалистическая теория, мы можем лишь более или менее гадательно говорить о том, **какая** именно материалистическая система это была, т.-е. как решались в ней проблемы, стоявшие тогда перед материалистической философией.

*) „Замечательное десятилетие“ в „Воспомин. и критич. очерках“, т. III, стр. 131 (примеч.).

Отдельные положения материализма разбросаны в нескольких местах сочинений Белинского. Приведем вслед за Г. В. Плехановым несколько кратких выдержек. В ненапечатанной статье „Общее значение слова „литература" Белинский говорит, что мировоззрение всякого данного народа определяется его субстанцией, т.-е. его натурой, темпераментом, характером. Но почему у разных народов бывают разные субстанции, этого об'яснить невозможно. И тут же он вносит поправку. „Правда,—говорит он,—на образование субстанции народа имееют большее или меньшее влияние географические, климатические и исторические обстоятельства; но тем не менее очевидно, что первая и главная причина субстанции всякого народа, как и всякого человека, есть — физиологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно-творящей природы". В идеалистический период своего развития Белинский, конечно, привлек бы для об'яснения „субстанции" народа не природу, **воздействующую** на физиологию, а абсолютную идею.

В статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года" он преподносит русской читающей публике чисто материалистическое определение психических явлений. „Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум?—говорит он.—Прекрасно!—так останавливайтесь же в благоговейном изумлении перед этой массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются через позвоночный хребет нити нервов, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или—что еще хуже—сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития".

И Белинский вполне одобряет „современную науку". Обращаясь против идеализма, он еще говорит: „Ум без плоти, без физиономии ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия есть логическая мечта, мертвый абстракт; ум—это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, **личность**". Современный материалист, конечно, изменил бы терминологию, но самую мысль Белинского принял бы целиком.

Большой интерес для выяснения самостоятельности философского развития Белинского и в то же время для оценки его атеизма представляет письмо к Боткину, написанное 17 февраля 1847 года. В этом письме он делится с другом мыслями, вызванными в нем статьей одного французского автора о позитивной философии Ог. Конта.

Конт, говорил Белинский, замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергическая, беспокойная, тревожная. Но видеть в нем творца такой философской системы, которая окончательно устранила бы из философии и науки все следы религиозной метафизики, не приходится. Несмотря на свой большой ум и богатые познания, Конт все еще обеими ногами стоит на почве метафизики.

Конт заменяет термин „идея" термином „закон природы". Смешная претензия думать, что старая вещь изменится, если ей дать новое название. „Абсолютная идея, абсолютный закон,—говорит

Белинский,—это одно и то же, ибо оба (термина) выражают нечто общее, универсальное, неизменное, исключающее случайность".

Самое поразительное доказательство тому, что философия Конта не есть новое учение, а простая реакция на богословские измышления, Белинский усматривает в утверждении, что природа несовершенна. „Пиетисты удивляются совершенству природы, для них в ней все премудро расчитано и размерено, они верят, что должна быть великая польза даже от гнусной и плодущей породы грызущих,т.-е. крыс и мышей, потому только, что природа сдуру не скупится производить их в чудовищном количестве. И вот Конт их нелепости, по чувству противоречия и необходимости реакции, противопоставляет новую нелепость, что природа-де несовершенна и могла бы быть совершеннее". Как же сам Белинский отвечает на этот вопрос? Более или менее так, как ответил бы на него последователь диалектического материализма. Что природа несовершенна—это справедливо, но что она могла бы быть совершеннее—это чепуха. „В несовершенстве-то природы и заключается ее совершенство. Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно—подлейшая вещь в мире". Белинский хочет этим сказать, что природа не может рассматриваться как нечто застывшее, раз навсегда данное. Она—не абстракт, а живая связь явлений, при которых совершенное в один момент и с одной какой-нибудь точки зрения, представляется несовершенным в другой момент и с другой точки зрения. Свою мысль он иллюстрирует указанием на человека и апелляцией к истории человечества.

„Человек смертен,—говорит он,—подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою. Это—его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его. Застрахуй его от смерти, болезни, случая, горя, и он—турецкий паша, скучающий в ленивом блаженстве; хуже—он превратится в скот. Конт не видит исторического процесса, живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности".

„Конт,—говорит Белинский далее,—уничтожает метафизику не как науку трансцендентальных нелепостей, но как науку законов ума; для него последняя наука, наука наук—физиология. Это доказывает то, что область философии так же вне его натуры, как и область истории, и что исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки. Что действия, т. е. деятельность ума есть результат деятельности мозговых органов—в этом нет никакого сомнения. Но кто же подсмотрел акт этих органов при деятельности нашего ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь? Конт возложил свое упование на дальнейшие успехи френологии, но эти успехи подтвердят только тождество физической природы человека с его духовною природой—не больше. Духовную природу человека не должно **отделять** от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно **отличать** от нее, как область анатомии отличают от области физиологии. Законы ума должны наблюдаться в действиях ума. Это—дело логики, науки, непосредственно следующей за физиологией, как физиология следует за анатомией. Метафизику к черту; это слово означает сверх-натуральное, следовательно, нелепость... (Логика) должна идти своей дорогой, но только не забывать ни на одну минуту, что предмет ее исследований—цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического".

Говоря о **тождестве** физической и духовной природы человека, Белинский, как это совершенно ясно из контекста, имеет в виду единство между мышлением и бытием, единство суб'екта и об'екта. „Духовное есть деятельность физического"—положение, с которым мы встречаемся и у многих материалистов XVIII-го века, и у Фейербаха. Требование не **отделять** духовную природу человека, как нечто независимое, от его физической природы, но лишь **отличать**, в зависимости от той точки зрения, на которую исследователь становится при изучении, это—требование самой развитой формы материализма, блестяще обоснованное Энгельсом и вполне усвоенное наукой нашего времени, становящейся материалистической. И наконец, во всей постановке этой основной философской проблемы, в методе, мы видим все то, что характеризуется, как диалектика.

Конечно, было бы наивностью—смешной претензией, как сказал бы сам Белинский,—утверждать, что Белинский пришел к диалектическому материализму. Но сказать, что линия его развития была направлена **в сторону** диалектического материализма, можно и должно. Как ни ограничен был размах его философских исканий,—вспомним его слабое знание немецкого языка, отсталость французской и скудность русской литературы, его загруженность литературной поденщиной и узость его литературной специальности,—но в меру данных ему возможностей он поднялся на высшую ступень. Во всяком случае, мы в праве предполагать, что, если бы он жил и развивался дальше, на Фейербахе он не остановился бы. Это предположение, кажется нам, можно подтвердить тем, что, отвергая позитивизм Конта, он не противопоставляет ему философию Фейербаха, а говорит, что умственная революция близка, но еще не свершилась. Вот его слова: „Освободить науку от призраков трансцендентализма и теологии, показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического—вот что сделает основатель новой философии, но чего не сделает Конт". Мы знаем, что только диалектический материализм Маркса и Энгельса в полнейшей мере удовлетворяет этим требованиям.

Насколько последовательным для своего времени материалистом был Белинский, показывает понимание им значения экономических причин в развитии современного общества. Выше мы упомянули, что незадолго до своей смерти он считал капиталистическую стадию развития неизбежной для России. Несколько ранее в письме к Боткину (декабрь 1847 г.) он писал: „Я знаю, что промышленность—источник великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом". Правда, тут же у него имеются высказывания, обнаруживающие, что вопрос им не совсем продуман. Но все же мы можем утверждать, что в своем понимании процессов развития общества он оставил позади и Герцена, и Бакунина, и многих из тех, которые в позднейшие времена называли его в числе своих учителей.

Так же глубок и проницателен был Белинский, когда он прилагал свои материалистические взгляды к литературной критике. Часто ли, например, в русской критике встречалась оценка значения представителей нашей литературы с точки зрения классовой? До появления в России марксизма, можно сказать, такой критики у нас не было. Исключая, однако, Белинского, который даже в Пушкине видел выразителя ограниченных интересов помещичьего класса. „Везде,—говорил он,—вы видите в Пушкине человека, душей и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изобра-

жаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина".

Вследствие относительной ограниченности нашей темы, мы не можем сколько-нибудь подробно остановиться на вопросе о том, чем мог бы стать Белинский, если бы не умер так рано. Такого рода диагноз „последнего кризиса" Белинского читатель найдет у Плеханова. Здесь же мы приведем несколько показаний Анненкова, о компетентности которого в данном вопросе не может быть спора. „Мысль его,—говорит Анненков о последнем полугодии жизни великого критика,—уже обращалась в кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися определениями прав и обязанностей человека, новой „правдой", провозглашаемой экономическими учениями, которая упраздняла все представления старой, отменяемой правды, о нравственном, добром и благородном на земле, и ставила на их место формулы и тезисы рассудочного характера". Оттенок неодобрения этим формулам и тезисам, выдвигавшимся тогда Марксом и Энгельсом,—они, именно, и имеются в виду,—об'ясняется тем, что сам Анненков писал свои воспоминания уже тогда, когда собственный его энтузиазм к новой правде совершенно остыл. И дальше он продолжает: „В уме Белинского созревали цели и планы для литературы, которые должны были изменить ее направление, оторвать от почвы, где она укоренилась, и вызвать врагов другой окраски и, конечно, другого, более решительного и опасного характера, чем все прежние враги, хотя и горячие, но уже обессиленные наполовину и безвредные... Теперь критик уже склонен был требовать от литературы исключительного занятия предметами социального значения и содержания и смотреть на них, как на единственную ее цель".

Итак, в последние годы своей жизни Белинский пришел к материализму. Атеистом, как мы видели, он стал еще в тот период своих исканий, когда, разорвав ветхую оболочку правоверного гегельянства, он с помощью диалектического метода стал выпутываться из сетей „абсолютной идеи". Но теперь его атеизм гораздо глубже и — что особенно ценно — отличается воинственностью. Ярким свидетельством этой воинственности является знаменитое письмо к Гоголю, — несомненный гражданский подвиг, „Завещание Белинского", как назвал его Герцен.

VIII.

В начале 1847 года вышли в свет „Выбранные места из переписки с друзьями". Ренегатство писателя, которого он любил, ценил и уважал, глубоко поразило Белинского, но еще больше в нем было возмущено чувство общественного деятеля, на глазах которого под фирмой популярного имени распространяются в публике идеи политической реакции и обскурантизма. „Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившимся был сам Гомер", — передает слова Белинского один из его друзей. И он пишет для „Современника" статью, хотя и отрицательную, но поневоле сдержанную. Он стремился в этой статье показать всю „гнусность подлеца" Гоголя и показал, — так, по крайней мере, говорит он сам. Но цензора до неузнаваемости исказили ее, вычеркнув около трети ее содержания. Понятно, что загнанное внутрь чувство негодования и гнева, неудовлетворенная потребность выполнить свой общественный долг — разоблачить и заклеймить политического врага, только ждали случая, чтобы вырваться с полной силой. Этот случай пред-

ставил сам Гоголь. Раздосадованный статьей Белинского, он написал ему беззубо-колкое и насквозь ханжеское письмо. И Белинский взорвался.

Он выступает не от своего только имени. Вполне сознавая себя вождем передовой части русского народа, он говорит, что выражает мнение множества лиц, безымянной массы читающей и мыслящей публики, видящей в писателях „своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности“. Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в пиетизме, как воображал Гоголь, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. „Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства..., права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью... Самые живые, современные, национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть“.

В стране белых рабов, где люди торгуют людьми, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, вдруг во имя церкви и христа раздается позорный призыв к помещикам еще больше грабить и шельмовать крестьян, восхваляется национальный русский суд и расправа и т. д. „Проповедник кнута, — бичует Белинский,—апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною... Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но христа то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было **спасением** людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор“.

Это противопоставление христианской церкви якобы христову учению и первоначальному христианству обнаруживает в Белинском человека, мало интересовавшегося историей христианства. Отчасти, впрочем, в этом он следовал за Фейербахом. Но при всей трафаретности этого взгляда на христа, как на первого (!) провозвестника свободы и равенства, как на первого социалиста, мы все же подчеркнем то, что здесь историческая истина принесена в жертву революционной тенденции. Так поступали революционные мыслители и практические революционеры очень часто.

Насколько далеко от всякого, даже идеализированного христианства понимание Белинским „свободы, равенства и братства“ видно из того, что, по его мнению, „смысл христова слова открыт философским движением прошлого века“, т.-е. атеистической философией французских просветителей. „Какой-нибудь Вольтер, — говорит он, — орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи“. Вспомним, что раньше он называл любимейшим учеником

христа и христианнейшим поэтом Беранже, имея в виду, конечно, его бесспорную заслугу в популяризации вольтерьянства в период клерикальной реакции во Франции.

Весьма интересными для характеристики просветительства Белинского нам представляются его тирады против православного духовенства и убеждение, что вследствие отсутствия у русского народа настоящей религиозности, дело просвещения у нас имеет блестящие перспективы.

„Неужели вы, — обращается он к Гоголю, — искренно, от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и у русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских—представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно!"

„По вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе... Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается с ними; живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не прививалась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся такою холодною аскетической созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме, его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольничьих сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею численно."

Почти все эти и ряд других, не приведенных здесь, утверждений Белинского имеют ценность не сами по себе, а лишь для характеристики его просветительства. Как и всякий просветитель революционного типа, т. е. человек, который по обстоятельствам места и времени бывает вынужден, вопреки своему темпераменту, проталкивать революционизирующие идеи в умы, вместо того чтобы проводить их в жизнь, он весьма мало считается с подлинными причинами и действительными следствиями. А между тем, если мы поглубже заглянем в мастерскую его ума, мы найдем, что в иные минуты действительная связь идей и вещей понимается им правильно. Так, мы видели, что от него не была скрыта зависимость содержания идеологии от принадлежности данного идеолога к определенному общественному классу. Здесь же он совершенно идеалистически связывает религиозность

с цивилизацией. Он младенчески не понимает того, что просвещенные и образованные французы все еще католики и верят в „какого то бога“ не потому, что французы „по натуре“ религиозный народ, а вследствие того, что французская буржуазная интеллигенция на данной ступени развития капиталистического строя вынуждена занимать охранительные позиции. Религиозность у нее теперь — оружие защиты и нападения против мятежных стремлений вышедшего из пеленок и опеки пролетариата, тогда как в период борьбы с пережитками феодализма эта религиозная „по натуре“ интеллигенция поражала весь мир своим воинствующим неверием. Его вера в русский народ, в его особенный ум и в возможность для него каких-то необыкновенных путей развития совершенно противоречит не раз высказывавшимся им пессимистическим взглядам на тот же самый народ. Здесь он превозносит русский народ, — правда, в обратном направлении, — совсем как те славянофилы, против которых он всегда ожесточенно боролся, и в своем презрении к которым он положительно не знал меры. А между прочим, он сам говорил (письмо к П. В. Анненкову, 15 февраля 1848 г.), что „мистическое верование в народ“ помогли ему сбросить те же славянофилы, которые „высосали из социалистов (правильнее сказать — социалистов-утопистов) свои „народные“ убеждения. Но стоит ли углубляться в ошибки Белинского и об'яснять их? Нашему читателю они должны так же бросаться в глаза, как бросались в глаза, по словам Белинского, гимназисту его времени нелепости гоголевской „Переписки с друзьями“.

Письмо к Гоголю является одним из самых замечательных документов в истории русской революционной мысли. По силе и яркости обличения, по своей антирелигиозности и антиклерикализму оно несравненно выше даже позднейших выступлений до марксистского периода нашей общественной мысли. Но в то же время в нем весьма выпукло отразилась слабая сторона Белинского, а именно, преобладание у него — при всем его философском материализме — идеалистического взгляда на вопросы истории и общественной жизни. Но это нисколько не значит, что Белинский хоть в этом отношении был человеком отсталым. Диалектический материализм **в то время еще только создавался** Марксом и Энгельсом, **а в российских условиях его усвоение было чрезвычайно затруднено.** Просветительская же точка зрения в вопросах общественной жизни была у нас тогда вполне правомерна и имела практически положительное значение.

„Литературный бунтовщик“ Белинский умер от чахотки (26 мая 1848 года), так и не испытав ни разу в своей жизни, чем грозит российская действительность всякому бунту. Цензурные репрессии в данном случае в счет не идут. Просто ему повезло в этом отношении. Но он всегда находился „под негласным надзором“, как и все вообще передовые писатели. Впрочем, в Петербурге не раз поговаривали о возможности ареста Белинского. По рассказу Герцена, комендант Петропавловской крепости, встречая на Невском проспекте знаменитого писателя, с улыбкой кошки, подкарауливающей мышь, говаривал ему: „Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат; так для вас и берегу“. Этот тепленький каземат охотно распахнул бы свою узкую дверь, если бы до „Третьего Отделения“ своевременно дошло письмо к Гоголю. Впрочем может быть, оно и дошло до жандармов еще при жизни его автора, но не было учтено сразу, как мятежный акт. Из всех разновидностей русских людей русские жан-

дармы особенно были крепки задним умом. Только когда „открылось„ дело петрашевцев, жандармы увидели, что письмо это „полно дерзких выражений против православной церкви и верховной власти“, и управляющий III-им Отделением Дубельт „яростно сожалел“, что Белинский не дождался этого момента. „Мы бы его сгноили в крепости“, — говорил он.

Последние дни писателя были омрачены, тем не менее, слишком пристальным вниманием к нему политической полиции. Дело в том, что шефу жандармов, А. Ф. Орлову было доставлено письмо-прокламация, подписанная „Истый русский“ и содержавшая исключительные по дерзости обличения русских порядков. Подозрение жандармов обратилось на Некрасова, которого доносчик Булгарин рекомендовал III-му Отделению „самым отчаянным коммунистом“, и на Белинского, которого, несомненно, рекомендовали с этой стороны его журнальные статьи. Чтобы проверить подозрение, Белинского вызвали в III-е Отделение. Больной писатель, сославшись на болезнь, не явился. Через некоторое время последовало новое приглашение, в котором, между прочим говорилось, что Дубельт желает лично узнать Белинского, как литератора, пользующегося известностью, и как человека, о котором „часто говорят“ *). Понятно, что такая настойчивость не могла не отозваться самым печальным образом на больном.

Настоящее гонение против Белинского поднялось только после его смерти. Уже при погребении к немногим друзьям, провожавшим его гроб, присоединилось „три или четыре неизвестных, вдруг откуда то взявшихся“. В них без труда все узнали переодетых жандармов. Когда друзья хотели разыграть в лотерею, в пользу оставшегося без средств семейства покойного, его библиотеку, это было запрещено, причем отказ „в самом раздраженном тоне“ был мотивирован тем, что „имя Белинского равнозначительно имени государственного преступника“. В течение почти десяти последовавших лет к имени Белинского применялся тот режим, которому на Руси подвергались имена государственных преступников: его запрещено было называть в печати. Блюстители этой загробной ссылки — цензоры, впрочем, не догадывались, что известный „критик 40-х годов“, о котором часто с горячими похвалами упоминали передовые журналы, был никто иной, как запрещенный Белинский.

---

*) Подробно эта история рассказана в заметке (П. Щеголева) „Эпизод из жизни В. Г. Белинского“, „Былое“ 1906 г., № 10. — Эпизод появления жандарма у постели умирающего увековечен на известной картине Наумова „Белинский перед смертью“.

В издании „АТЕИСТА"

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

„Миф о христе"—т. I и II, А. Древса, пер. с нем. под редакцией П. Красикова. (Распр.).

„Миф о христе"—А. Древса, пер. Н. Румянцева. Однотомное переработанное автором в 1924 г. последнее издание. 1 р.

„О боге и о чорте"—памфлет Э. Даэнсона, пер. с франц. и примечания И. Шпицберга. (Распр.).

„Святой отрок Гавриил"—бейлисиада. 10 к. (Распр.).

„Рождество христово"—Н. Румянцева. 15 к. (Распр.).

„Страшный суд, как картина звездного неба"—Д. Святского (Распр.).

„Философия жизни Иисуса"—А. Немоевского, пер. с польского языка и предисловие Н. Румянцева. 35 к. (Распр.).

„Евангельские мифы"—Джона Робертсона, пер. с нем., под редакцией и с предисловием И. Шпицберга. 50 к. (Распр.).

„Первобытный коммунизм и первобытная религия в историко-материалистическом освещении" Г. Эйльдермана, пер. с нем., с предисловием автора и проф. В. К. Никольского. 1 р. 50 к. (Распр.).

„Зеркало папизма" — Отто Корвина, с предисл. И. Шпицберга. (Распр.).

„Миф об Иоанне крестителе"—Н. Румянцева. 20 к. (Распр.).

„Жил ли христос"? — А. Древса, пер. с нем. Н. Румянцева. 40 к. Изд. 2-е (Распр.).

„Рождественская мифология"—Н. Румянцева. 25 к. (Распр.).

„Религия и здравый смысл" — П. Гольбаха, пер. с франц., под редакцией В. Шишакова. 75 к. (Распр.).

„Завещание священника Иоанна Мелье" — Перев. с франц. под редакцией В. Шишакова. 30 к. (Распр.).

„Пасхальная мифология"—Н. Румянцева. 1 р. 25 к. (Распр.).

„Жил ли апостол Петр"? — В. Древса, пер. и примечания Н. Румянцева с предисловием И. Шпицберга. 75 к.

„Что мы знаем об Иисусе"?—Э. Гертлейна, с нем. 40 к.

„Христианство и франц. революция"—А. Олара, пер. с франц. 75 к.

„Святой Тихон амафунтский"—Н. Румянцева. 40 к.

„Святой Василий Грязнов — защита подмосковных акул текстильной промышленности"—И. Шпицберга. 30 к.

„От религии к атеизму" — библиографический сборник. (Сведения о литературе, вышедшей в области религии и ее критики, начиная с февральской революции до 1/I—1926 г., с отзывами). 1 р.

„Смерть и воскресение спасителя" (исследование в области сравнительной мифологии)—Н. Румянцева. 2 р. 50 к.

„Дохристианский христос"—Румянцева. 1 р.

„Миф о деве Марии"—А. Древса, пер. с нем. Н. Румянцева. 1 р.

„Мысли В. И. Ленина о религии". 1 р. 50 к.

„Занимательная библия"—Лео Таксиля, т. I. Пятикнижие; с 39 сатир. рисунками. Пер. с франц., под ред. В. Шишакова. 1 р. 25 к. (Распр.).

Цена 40 к.

„Занимательная библия“ — Лео Таксиля, т. II. Иисус Навин—Соломон; с 23 сатир. рис. В. Триваса. Пер. с франц., под ред. В. Шишакова. 1 р. 25 к.

„Занимательная библия“ -- Лео Таксиля, т. III. После Соломона, с 10 сатир. рис. В. Триваса. Пер. с франц., под ред. В. Шишакова. 1 р.

„Миф и религия“ (Первобытная мифология—в материалистическом освещении)—Г. Эйльдермана. Пер. с нем. 70 к.

„Светский календарь Великой Французской Революции“—И. Вороницына. 30 к.

„Иисус или Карл Маркс“—Т. Гартвига, с нем. 30 к.

„Бог и страшный суд“—Т. Гартвига, с нем. 30 к.

„История атеизма“—И. Вороницына. Вып. I—Атеизм в древности.—Свободомыслие в Германии XVII и первой половины XVIII столетия. 1 р. 25 к.

„История атеизма“—И. Вороницына. Вып. II—Борьба с религией во Франции в первую половину XVIII столетия. Философская битва. 1 р. 25 к.

„История атеизма“—И. Вороницына. Вып. III—Борьба с религией и атеизм в эпоху Французской революции—Лаланд, Марешаль. 1 р.

„История атеизма“—И. Вороницына. Вып. IV—Немецкое просвещение в его зависимости от французского просвещения и революции. Религиозное свободомыслие в России в XVIII веке. 2 р. 50 к.

„Святая инквизиция“—Проф. С. Г. Лозинского. 3 р.

„Христианство и рабство“—А. Катца. 40 к.

„Тайны древнего христианства“—Г. Даумера, пер. с нем. 1 р. 50 к.

„Великий шантаж“—Н. Румянцева. 75 к.

„Происхождение креста“—Статьи.—От редакции; Маурент-Брока; П. Ошара; П. Сэнтива; А. Немоевского. 75 к.

„Происходит ли человек от обезьяны“—Г. Графа. 30 к.

„Мощи новозаветных героев“—Н. Румянцева. 30 к.

„История развития земли“—Г. Графа. 50 к.

„Церковь и империалистическая война“—Б. Кандидова. 1 р. 25 к.

„Загробные ужасы—как черный террор“—А. Струве. 50 к.

„Мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии“. 3 р. 75 к.

„Секуляризация церковных имуществ в России“—Е. Грекулова. 60 к.

„Атеизм А. С. Пушкина“—В. Рожицына. 1 р.

„Церковь и просвещение в России“—С. А. Каменева. 1 р. 50 к.

„Из истории христианского культа“—(Статьи А. Древса, Г. Лешке, Н. Румянцева). 60 к.

„Из практики рясников“—П. Сэнтива и Ф. Мели. 50 к.

„Руины“—атеистический памфлет XVIII ст. Вольнея. С рис. 1 р. 50 к.

„Золотая ветвь“—Д. Фрэзера. Вып. I. Магия и религия. С пред. проф. П. Ф. Преображенского. 2 р.

„Золотая ветвь“—Д. Фрэзера. Вып. II. Табу—запреты. 1 р. 50 к.

„Золотая ветвь“ — Д. Фрэзера. Вып. III. Умирающие боги растительности. 2 р. 25 к.

„В. Белинский и религия“—И. Вороницына. 40 к.

СДАНЫ В ПЕЧАТЬ:

„История атеизма“ (5-ый выпуск).—И. Вороницына.

„Золотая ветвь“—Джемса Фрэзера. Вып. IV.

„Мысли Г. В. Плеханова о религии“.

„Илья пророк“—Н. Румянцева.

„Бытовые основы религиозных верований“—А. Струве.